

Чувство и чувствительность

Автор:

[Джейн Остин](#)

Чувство и чувствительность

Джейн Остин

«Чувство и чувствительность» – пожалуй, самый знаменитый роман Джейн Остен. Книга, написанная еще в 1811 году, не раз экранизировалась в наше время. А постановка под названием «Разум и чувство» с Эммой Томпсон, Кейт Уинслет и Хью Грантом в главных ролях завоевала множество международных кинопремий, включая «Оскара». Роман также послужил основой для скандальной книги Бена Х.Уинтерса «Разум и чувство и гады морские». В «классическом варианте» мисс Остен героини «Чувства и чувствительности» – сестры Элинора и Марианна Дэшвуд – борются не с кровожадными монстрами, а скорее друг с другом и, уж точно, с самими собой. Марианна, олицетворяющая безрассудное чувство, и Элинора, способная контролировать малейшие нюансы своих эмоций, руководствуются в жизни (и замужестве – что архиважно для любой порядочной девушки XIX века) диаметрально противоположными доводами... Хотя стремятся они к одному – к любви и счастью.

Джейн Остен

Чувство и чувствительность

Глава 1

Дэшвуды принадлежали к старинному роду, владевшему в Сассексе большим поместьем, которое носило название Норленд-парк, и в усадьбе, расположенной

в самом сердце их обширных угодий, из поколения в поколение вели столь почтенную жизнь, что пользовались среди соседей самой доброй репутацией. Последним хозяином поместья был доживший до весьма преклонного возраста старый холостяк, много лет деливший свое уединение с сестрой, которая вела дом. Но она умерла – что произошло лет за десять до его собственной кончины, – отчего домашняя его жизнь совершенно переменялась, ибо, потеряв ее, он пригласил поселиться у себя семью своего племянника мистера Генри Дэшвуда, законного наследника Норленда, которому он так или иначе намеревался завещать свое имение. Общество племянника, племянницы и их детей приятно скрашивало жизнь старика. Его привязанность к ним все возрастала и крепла. Мистер и миссис Дэшвуд с заботливым попечением покоили его старость, угождая всем его желаниям не столько из своекорыстия, сколько по душевной доброте, веселость же детей служила ему развлечением.

У мистера Генри Дэшвуда был сын от первого брака, а вторая жена подарила ему трех дочерей. Сын, благоразумный и степенный молодой человек, не был стеснен в средствах, получив по достижении двадцати одного года половину состояния своей покойной матери, которое было весьма большим. А вскоре затем вступив в брак, еще приумножил свое богатство. Вот почему для него дальнейшая судьба Норленда была не столь важна, как для его сестер, чьи ожидания, если бы их отец не унаследовал имения, оказались бы далеко не радужными. Мать их никакого собственного состояния не имела, а отец по собственной воле мог распорядиться лишь семью тысячами фунтов, так как остальная часть наследства его первой жены также должна была отойти ее сыну, он же лишь пожизненно пользовался процентами с нее.

Почтенный джентльмен скончался. Его завещание было оглашено и, как почти всегда в подобных случаях, принесло столько же огорчения, сколько и радости. Нет, он не был настолько несправедлив и неблагодарен, чтобы вовсе обойти племянника, и поместье отказал ему – но на таких условиях, что в значительной мере обесценил его. Наследства мистер Дэшвуд желал более ради жены и дочерей, нежели ради себя и сына, – однако как раз этому сыну и его сыну, четырехлетнему малютке, и предназначил свое имение старик, связав племяннику руки всяческими ограничениями, отнимавшими у него возможность обеспечить тех, кто был особенно дорог его сердцу и особенно нуждался в обеспечении: завещание возбраняло ему распоряжаться поместьем по своему усмотрению или продавать дорогой лес. Сделано это было для того, чтобы оно со временем во всей целостности перешло его внуку, который, приезжая с отцом и матерью погостить в Норленде, настолько обворожил двоюродного прадедушку такими отнюдь не редкими у двух-трехлетних детей милыми особенностями, как

забавный лепет, упорство в желании поставить на своем, изобретательность в проказах и шумливость, что они совершенно перевесили все нежные заботы, какими его окружали племянница и ее дочери. Впрочем, он вовсе не думал обидеть их и в знак расположения оставил каждой из трех девиц по тысяче фунтов.

Первое время мистер Дэшвуд переносил свое разочарование очень тяжело. Но человек по натуре бодрый и не склонный унывать, он вскоре утешился мыслью, что впереди у него еще много времени и, живя экономно, он сумеет отложить порядочную сумму из доходов от поместья, – они и так уже были немалыми, но он надеялся незамедлительно увеличить их, введя некоторые улучшения. Увы, поместье, полученное им столь поздно, принадлежало ему один год. Он пережил дядю лишь на этот срок, и его вдове и дочерям осталось всего десять тысяч фунтов, включавшие и те три тысячи, которые завещал барышням двоюродный дед.

Едва стало ясно, что болезнь мистера Дэшвуда принимает опасный оборот, он послал за сыном и со всей настойчивостью и убедительностью, на какие у него еще достало духа, поручил мачеху и сестер его заботам.

Мистер Джон Дэшвуд, в отличие от остальных членов семьи, не был склонен к сильным чувствам, но подобная отцовская просьба в подобных обстоятельствах не могла не тронуть сына, и он обещал сделать для их благополучия все, что будет в его силах. Такое заверение облегчило последние минуты умирающего, а затем у мистера Джона Дэшвуда оказалось достаточно досуга поразмыслить, что, собственно, он может сделать для них, не выходя из пределов благоразумия.

Он вовсе не был дурным человеком – конечно, если черствость и эгоистичность не обязательно делают людей дурными – и, во всяком случае, пользовался общим уважением, так как в обычных обстоятельствах всегда вел себя с безукоризненной порядочностью. Женясь он на более мягкосердечной женщине, то, быть может, стал бы еще более порядочным или даже сам умягчился сердцем, потому что вступил в брак совсем юным и очень любил жену. Однако миссис Джон Дэшвуд была как бы преувеличенной карикатурой на него самого – еще более себялюбивой и холодной.

Давая обещание отцу, он решил было добавить к состоянию сестер по тысяче фунтов для каждой. В те минуты он искренне считал, что это вполне в его силах.

Мысль о том, что теперь его доход пополнится четырьмя тысячами фунтов в год, не говоря уж о второй половине материнского наследства, согрела его душу, вознесла над мелочными расчетами. Да, он подарит им три тысячи фунтов: это щедро, благородно. Они будут вполне обеспечены. Три тысячи фунтов! И столь внушительную сумму он может отдать, не причинив себе сколько-нибудь заметного ущерба! Эту мысль он лелеял весь день, а потом и еще много дней, ничуть не раскаиваясь в принятом решении.

Едва его отец был погребен, как прибыла миссис Джон Дэшвуд с сыном и собственными слугами. Никто не мог бы оспорить ее права приехать: дом принадлежал ее мужу с того мгновения, как его отец скончался. Но это лишь усугубляло бездушную неделикатность поведения, которое в подобных обстоятельствах больно ранило бы и женщину, не наделенную особенно тонкой натурой. Понятия же миссис Дэшвуд о чести были столь высоки, а представления об истинном благородстве столь романтичны, что поступок такого рода, независимо от того, кем и по отношению к кому он был совершен, мог вызвать у нее лишь непреходящее отвращение. Миссис Джон Дэшвуд никогда не пользовалась особенной любовью близких ее мужа, но до сих пор ей не выпадало случая показать им, с каким пренебрежением к душевному покою и чувствам других людей способна она вести себя, когда ей это представляется нужным.

Миссис Дэшвуд подобная грубая бессердечность возмутила так сильно и внушила ей столь жгучее презрение к невестке, что она, вероятно, в ту же минуту навсегда покинула бы дом, если бы не убеждения старшей дочери, которые заставили ее вспомнить, что подобная спешка была бы непростительным нарушением всех приличий. А затем любовь к трем ее девочкам внушила ей, что ради них она должна остаться и не порывать отношений с их братом.

Элинора, старшая из сестер, чьи уговоры оказались столь успешными, обладала живым умом и спокойной рассудительностью, позволившими ей в девятнадцать лет стать советницей матери: не раз она, к их общему благу, успевала предупредить тот или иной необдуманный порыв миссис Дэшвуд. Душа у нее была прекрасная, сердце доброе и привязчивое, а чувства очень сильные, но она умела ими управлять. Умение это ее мать так пока и не приобрела, а одна из сестер твердо решила никогда не приобретать.

Достоинствами Марианна во многих отношениях не уступала Элинор. Она была умна, но впечатлительна и отличалась большой пылкостью: ни в печалях, ни в радостях она не знала меры. Она была великодушна, мила, загадочна – все, что угодно, но только не благоразумна. Сходство между ней и матерью казалось поразительным.

Чувствительность сестры внушала Элинор тревогу, но миссис Дэшвуд восхищалась этим качеством дочери и всячески его лелеяла. Теперь они с Марианной неустанно поддерживали друг в друге бурную печаль. Сразившее их горе от невозвратимой утраты теперь нарочито растравлялось, усугублялось, воскрешалось вновь и вновь. Они всецело предались его мукам, питали их всеми способами и твердо отвергали даже мысль о возможном утешении пусть в самом далеком будущем. Элинор тоже горевала всем сердцем, но она боролась с собой, старалась взять себя в руки. У нее достало сил советоваться с братом, а также достойно встретить невестку и держаться с ней, как требовали правила хорошего тона. Она пыталась побудить к тому же и свою мать, вдохнуть в нее такую же терпеливую твердость.

Маргарет, третья сестра, была доброй, хорошей девочкой, но уже успела впитать немалую толику романтичности Марианны, хотя далеко уступала ей в уме, и в свои тринадцать лет, разумеется, не могла считаться равной более взрослым сестрам.

Глава 2

Теперь хозяйкой Норленда стала миссис Джон Дэшвуд, а ее свекровь и золовки были низведены на положение гостей. Однако в таком их качестве она обходилась с ними со спокойной вежливостью, а ее муж – со всей добротой, на какую он был способен, когда речь шла не о нем самом, его жене или сыне. Он с вполне искренней настойчивостью просил их считать Норленд своим домом, и его приглашение было принято, так как миссис Дэшвуд не видела иного выхода – во всяком случае, до тех пор, пока она не подыщет для себя дом где-нибудь в окрестностях.

Необходимость жить там, где все напоминало ей о былых радостях, превосходно отвечала особенностям ее натуры. В безоблачные времена никто не мог

сравниться с ней веселостью духа, никто не уповал на счастье с той светлой надеждой, которая сама по себе уже счастье. Но и печали она предавалась с такой же беззаветностью и так же отвергала самую возможность утешения, как прежде не позволяла даже тени сомнения омрачить ее восторги.

Миссис Джон Дэшвуд отнюдь не одобрила того, что ее муж решил сделать для своих сестер. Отнять три тысячи фунтов у их драгоценного сыночка! Но это же нанесет страшнейший ущерб его состоянию! Она умоляла его хорошенько подумать. Какое оправдание найдет он себе, если ограбит свое дитя, свое единственное дитя? Ведь это же огромная сумма! И какое, собственно, право есть у девиц Дэшвуд, всего лишь сводных его сестер – а такое родство она вообще родством не признает, – на подобную его щедрость? Давно известно, что между детьми от разных браков их отца вообще никакой привязанности и быть не положено. Почему должен он разорить себя и их бедного Гарри, отдав все свои деньги сводным сестрам?

– На смертном одре отец просил меня, – ответил ее муж, – чтобы я помог его вдове и дочерям.

– Вероятно, он не понимал, что говорит. Десять против одного, у него был бред. Будь он в здравом уме, ему и в голову не пришло бы просить, чтобы ты отнял половину своего состояния у собственного сына!

– Он не называл никаких сумм, милая Фанни, а лишь в общих словах просил меня оказать им помощь, обеспечить их будущее надежнее, чем было в его власти. Пожалуй, было бы лучше, если бы он просто положился на меня. Неужели он думал, что я брошу их на произвол судьбы! Но раз уж он потребовал от меня обещания, я не мог отказать. Во всяком случае, так мне это представилось в ту минуту. Но как бы то ни было, обещание я дал и его необходимо сдержать. Надо будет сделать для них что-то, когда они покинут Норленд и устроятся в своем новом доме.

– Так и сделай для них что-то. Но почему этим «что-то» непременно должны быть три тысячи фунтов? Ну, подумай сам! – добавила она. – Стоит отдать деньги, и они уже к тебе не вернутся. Твои сестры выйдут замуж, и ты лишишься этих денег навсегда. Конечно, если бы они все-таки когда-нибудь достались нашему бедному малютке...

– Да, бесспорно, – с величайшей серьезностью согласился ее муж, – это меняло бы дело. Ведь может настать время, когда Гарри пожалеет, что столь крупная сумма была отдана на сторону. Если, например, у него будет много детей, такая добавка оказалась бы очень кстати.

– О, конечно!

– Так, пожалуй, для всех будет лучше, если эту сумму сократить наполовину. И пятьсот фунтов заметно увеличат их состояние!

– Оченьnamного! Какой еще брат сделал бы даже вполнину столько для своих сестер, причем для родных сестер! Ну, а для сводных... Но ты так великодушен!

– Да, мелочность тут неуместна, – ответил он. – В подобных случаях всегда предпочтешь сделать больше, а не меньше. Никто, во всяком случае, не сможет сказать, что я сделал для них недостаточно. Даже они сами вряд ли ожидают большего.

– Чего они ожидают, знать невозможно, – сказала его супруга. – Но об их ожиданиях нам думать незачем. Важно, что можешь позволить себе ты.

– Разумеется. И мне кажется, я могу позволить себе подарить им по пятьсот фунтов. Но ведь и без моего добавления каждая из них после смерти матери получит более трех тысяч фунтов. Состояние для любой девицы вполне завидное.

– О, конечно! И по-моему, никаких добавок им не требуется. Они же разделят между собой десять тысяч фунтов! Если они выйдут замуж, то, без сомнения, за людей состоятельных. А если нет, то отлично проживут вместе на проценты с десяти тысяч.

– Совершенно верно, а потому, принимая во внимание все обстоятельства, я прихожу к выводу, что лучше будет назначить что-нибудь не им, а их матери – пожизненно. Я имею в виду что-нибудь вроде ежегодной пенсии. И это будет на пользу не только ей, но и моим сестрам. Сто фунтов в год вполне их всех обеспечат.

Однако его жена не поторопилась одобрить и этот план.

– О, конечно, – сказала она, – это лучше, чем отдать полторы тысячи фунтов сразу. Но если миссис Дэшвуд проживет еще пятнадцать лет, мы понесем именно этот убыток.

– Пятнадцать лет! Милая Фанни, ее жизнь и половины этого срока не продлится.

– Да, бесспорно. Но, наверное, ты замечал, что люди, которым выплачивают пенсии, живут вечно. А она очень бодря, здоровье у нее отменное, и ей только-только исполнилось сорок. Ежегодная пенсия – расход весьма серьезный. Ее приходится выплачивать из года в год, и изменить уже ничего нельзя. Ты не отдаешь себе отчета в том, что делаешь. Мне хорошо известно, какой обузой оборачиваются пенсии. Ведь моя маменька была обременена выплатой целых трех пенсий, которые папенька в своей духовной назначил трем престарелым слугам, и просто удивительно, как ей это досаждало. Дважды в год плати, да еще хлопоты с отсылкой денег! А потом пришла весть, будто кто-то из них умер. Но только после выяснилось, что ничего подобного. Маменька совсем измучилась. Собственные доходы ей вовсе не принадлежат, говаривала она, раз какая-то их часть изымается безвозвратно. И бессердечие папеньки было тем больше, что без этих пенсий маменька могла бы распоряжаться всеми деньгами без всяких ограничений. У меня теперь такое отвращение к пенсиям, что я ни за какие блага в мире не связала бы себя по рукам и ногам подобным обязательством!

– Да, безусловно, – ответил мистер Дэшвуд, – всякие ежегодные отчисления от доходов крайне неприятны. Собственное состояние, как справедливо замечает твоя маменька, человеку уже не принадлежит. Связать себя постоянными выплатами подобной суммы каждое полугодие – значит лишиться независимости. Нет, это вовсе ни к чему.

– Несомненно! И тебя за это даже спасибо не ждет. Они полагают себя обеспеченными, то, что ты им уделяешь, словно само собой разумеется и никакой благодарности не вызывает. На твоём месте, если бы я что-либо и делала, то лишь тогда, когда сама находила бы это нужным. А ежегодными выплатами себя не связывала бы. Вдруг в тот или иной год нас очень стеснит необходимость отнять у себя сто или даже пятьдесят фунтов?

– Любовь моя, ты совершенно права! Лучше будет обойтись без твердой пенсии. То, что я смогу уделять им от случая к случаю, принесет им значительно больше пользы, чем ежегодная пенсия. Ведь, рассчитывая на большой доход, они просто стали бы жить на более широкую ногу и к концу года не оказались ни на йоту богаче. Нет, нет, так будет гораздо разумнее. Пятьдесят фунтов в подарок время от времени поспособствуют тому, чтобы они никогда не чувствовали себя стесненными в средствах, и, мне кажется, таким образом я более чем выполню данное отцу обещание.

– О, конечно! Да и, по правде говоря, я убеждена, что твой папенька вовсе и не думал о том, чтобы ты дарил им деньги. Право же, он имел в виду лишь ту помощь, какую от тебя действительно можно требовать. Например, подыскать для них удобный небольшой дом, облегчить им хлопоты с переездом, посылать рыбу, дичь и прочие такие же подарки, в зависимости от времени года. Головой ручаюсь, ни о чем другом он и не помышлял. Да и странно было бы, и вовсе неразумно, считать он иначе. Милый мой мистер Дэшвуд! Подумай хорошенько, как чудесно могут жить на проценты с семи тысяч фунтов твоя мачеха и ее дочери. И ведь у каждой барышни, кроме того, есть своя тысяча, а она приносит в год пятьдесят фунтов. Разумеется, из них они будут платить матери за стол. То есть у них на всех будет в год пятьсот фунтов! Ну, скажи на милость, разве этого не более чем достаточно для четырех женщин? Они ведь могут жить так дешево! Ведение хозяйства расходов вообще не потребует. У них не будет ни экипажа, ни лошадей. Прислуги почти никакой. Принимать у себя и ездить по гостям им незачем. Так какие же тут расходы? Только представь себе, как отлично они заживут! Пятьсот фунтов в год! Я просто вообразить не в состоянии, на что они сумеют потратить хотя бы половину такой суммы. А о том, чтобы ты им что-то еще дарил, даже думать смешно. Им куда легче будет уделить что-нибудь тебе!

– Слово благородного человека! – сказал мистер Дэшвуд. – Ты совершенно права! Мой отец, безусловно, имел в виду только то, о чем сказала ты. Теперь мне это совершенно ясно, и я буду скрупулезно соблюдать свое обещание, оказывая им ту помощь и те знаки внимания, о которых ты говорила. Когда моя мать решит переехать, я с удовольствием позабочусь оказать ей все посильные услуги. Пожалуй, нелишним будет и подарить ей по этому случаю кое-какую мебель.

– О, конечно! – сказала миссис Джон Дэшвуд. – Впрочем, тут уместно вспомнить одно обстоятельство. Когда твои папенька и маменька переселились в Норленд, стэнхиллская мебель, правда, была продана, но фарфор, столовое серебро и

белье – все осталось и теперь завещаны твоей маменьке. Поэтому ее дом, как только она его снимет, сразу же будет почти полностью обставлен.

– Это, бесспорно, очень важное соображение. Очень, очень недурное наследство! А ведь кое-что из серебра совсем не помешало бы добавить к тому, что у нас здесь есть.

– Да. И чайный сервиз куда великолепнее здешнего! Такая роскошь, по моему мнению, будет даже излишней в жилище, какое подойдет им теперь. Но ничего не поделаешь. Твой папенька думал только о них. И как хочешь, а я все-таки скажу: ты вовсе не обязан питать к нему особенную благодарность или свято исполнять его волю. Ведь мы же прекрасно знаем, что, будь у него такая возможность, он все, все, все, кроме разве что какой-нибудь малости, отказал бы им!

Этот довод был неотразим. И вдохнул в него решимость, положившую конец его колебаниям. Теперь он твердо знал, что предложить вдове и дочерям его отца что-нибудь, помимо тех добрососедских услуг, какие перечислила его жена, было бы не только совершенно лишним, но, пожалуй, и в высшей степени неприличным.

Глава 3

Миссис Дэшвуд провела в Норленде еще несколько месяцев, но вовсе не потому, что ей не хотелось никуда переезжать. Напротив, едва вид столь хорошо знакомых мест перестал вызывать прежнее бурное горе и ее душа немного оживилась, а разум не столь непрерывно терзался печальными воспоминаниями, как она преисполнилась нетерпением поскорее уехать и без устали наводила справки о подходящих домах в окрестностях Норленда, – уехать далеко от всего, что было столь дорого ее сердцу, у нее не хватало сил. Но ей никак не удавалось найти жилище, которое отвечало бы ее понятиям о комфорте и удобствах и было бы одобрено благоразумной старшей дочерью, чьи более трезвые суждения уже заставили ее отказаться от нескольких домов, слишком больших для их ограниченного дохода, на которых она совсем готова была остановить свой выбор.

Муж сообщил миссис Дэшвуд о торжественном обещании позаботиться о них, которое дал ему сын и которое облегчило его последние часы. В искренность этих заверений она поверила столь же непоколебимо, как и покойный, и теперь при мысли о них радовалась – не за себя, но за своих дочерей. Самой же ей, была она убеждена, чтобы жить, ни в чем не нуждаясь, хватило бы и половины семи тысяч фунтов. И еще она была рада за их брата, рада, что ошиблась в нем, и укоряла себя за прежнее свое несправедливое к нему отношение: ведь она считала его неспособным на великодушие. Его неизменная внимательность к ней и сестрам убедила ее, что он принимает к сердцу их благополучие, и она долго полагалась на благородство его намерений.

Презрение, каким она в самом начале их знакомства прониклась к своей невестке, неизмеримо возросло, когда она лучше узнала ее характер, прожив с ней под одним кровом полгода. И возможно, обе дамы не выдержали бы такого длительного испытания, несмотря на требования приличий и материнские чувства миссис Дэшвуд, если бы не одно обстоятельство, которое, по мнению этой последней, более чем оправдывало дальнейшее пребывание ее дочерей в Норленде.

Обстоятельством этим была крепнущая взаимная симпатия между ее старшей девочкой и братом миссис Джон Дэшвуд, очень приятным молодым человеком с благородными манерами, который познакомился с ними вскоре после переезда его сестры в Норленд и с тех пор почти постоянно гостил там.

Некоторые матери поощряли бы такое сближение из меркантильных соображений, – ведь Эдвард Феррарс был старшим сыном человека, скончавшегося очень богатым; другие же, напротив, постарались бы воспрепятствовать ему из благоразумия, так как, если не считать пустякового дохода, он всецело зависел от воли своей матушки. Но на миссис Дэшвуд ни то, ни другое обстоятельство нисколько не влияло. Ей было достаточно, что молодой человек, видимо, очень порядочный, полюбил ее дочь и что Элинор отвечает ему взаимностью. По ее глубокому нравственному убеждению, разница в состоянии никак не служила препятствием для соединения молодой пары, связанной симпатией душ, а что кто-нибудь из знающих Элинор мог остаться слеп к ее достоинствам, и вовсе представлялось ей немыслимым.

Эдвард Феррарс не завоевал их расположения с первых же минут интересной наружностью или особой ловкостью обхождения. Он не был красив, а манеры его обретали привлекательность лишь при более близком знакомстве.

Застенчивость мешала ему показывать себя с наивыгоднейшей стороны, но, когда он преодолевал эту природную робость, все его поведение говорило об открытой и благородной натуре. Ему был присущ немалый ум, прекрасно развитый образованием. Но у него не было ни способностей, ни склонности отличиться, как того желали его мать и сестра, на... они и сами не знали, на каком поприще. Им не терпелось, чтобы он так или иначе занял блестящее положение в свете. Мать хотела, чтобы он занялся политикой, стал членом парламента или доверенным помощником того или иного государственного мужа. Не меньшего для него хотела и миссис Джон Дэшвуд, хотя в ожидании этих великих свершений она удовольствовалась бы и тем, чтобы он ловко правил щегольским экипажем. Но Эдварда Феррарса не влекли ни государственные мужи, ни щегольские экипажи. Сам он мечтал лишь о домашнем уюте и тихой жизни частного лица. К счастью, у него был младший брат, обещавший гораздо больше.

Эдвард гостил в Норленде уже несколько недель, когда миссис Дэшвуд, еще вся во власти своего горя, начала обращать на него внимание. Прежде она замечала только, что в нем нет никакой развязности, и этим он ей нравился. Он не нарушал ее скорби неуместными разговорами. Приглядываться же к нему, причем все более одобрительно, она стала после того, как Элинор однажды упомянула, насколько мало походит он характером на сестру. Для ее матери трудно было найти рекомендацию лучше.

– Если он не похож на Фанни, – сказала она, – чего же более! Это ведь подразумевает все самые приятные качества. Я его уже полюбила.

– Мне кажется, – ответила Элинор, – он правда вам понравится, когда вы узнаете его поближе.

– Понравится! – с улыбкой возразила ее мать. – Для меня одобрять – значит любить. На более слабое чувство я не способна.

– Но вы можете питать к нему уважение.

– Я всегда полагала, что уважение и любовь нераздельны.

Миссис Дэшвуд начала привечать молодого человека. Манеры ее были очень располагающими, и вскоре он забыл о своей застенчивости. Она же не

замедлила убедиться в его достоинствах: возможно, уверенность, что он любит Элино́р, сделала ее особенно проникательной. Однако оценила она его от всей души, и даже скромная сдержанность, противоречившая всем ее понятиям о светскости, приличной молодым людям, перестала быть в ее глазах признаком незначительности, едва ей открылись отзывчивость его сердца и мягкость натуры.

Стоило же ей усмотреть в его поведении с Элино́р признаки любви, как она уверовала в серьезность их взаимного чувства и уже предвкушала их скорую свадьбу.

– Еще несколько месяцев, милая Марианна, – сказала она, – и судьба Элино́р, судя по всему, устроится навсегда наилучшим образом. Нам будет грустно без нее, но зато ее ждет счастье.

– Ах, мама! Как же мы будем жить без нее?

– Но, душечка, мы ведь почти не разлучимся. Поселимся в двух-трех милях друг от друга и станем видеться каждый день. А у тебя будет брат, истинно любящий брат. Я самого высокого мнения о сердце Эдварда... Марианна! У тебя такой опечаленный вид! Или ты не одобряешь выбор своей сестры?

– Пожалуй, я несколько удивлена, – ответила Марианна. – Эдвард очень мил, и я нежно его люблю. И все же... он не... ему чего-то недостает... В его внешности нет ничего незаурядного. Ему недостает того изящества манер, какое мне представлялось обязательным в человеке, покоровшем сердце моей сестры. Его взгляд лишен той пылкости, того огня, которые неопровержимо свидетельствуют и о высоких достоинствах, и о тонком уме. И, ах, мама, боюсь, он не обладает подлинным вкусом. К музыке он словно бы равнодушен, и, как ни восхищается он рисунками Элино́р, это не восхищение истинного ценителя, способного понять, до чего они на самом деле хороши. Хотя он и не отходит от нее, когда она рисует, легко заметить, что он ничего в этом не понимает. Он восторгается как влюбленный, а не как знаток. Для меня же необходимо соединение того и другого. На меньшем я не примирилась бы. Я не могла бы найти счастье с человеком, чей вкус не во всем совпадал бы с моим. Он должен разделять все мои чувства. Те же книги, та же музыка должны равно пленять нас обоих. О, мама! Какой скучной, какой невыразительной была манера Эдварда, когда он читал нам вчера вечером! Как я сострадала Элино́р! Она сносила его чтение спокойно, словно ничего не замечала. А я с трудом

удерживалась, чтобы не убежать. Слушать, как дивные строки, которые столь часто приводили меня в экстаз, произносятся с такой холодной невозмутимостью, с таким ужасающим равнодушием...

– Да, бесспорно, ему больше подошла бы легкая изящная проза. Я уже тогда так подумала. Но ты настояла, чтобы он читал Каупера!

– Ах, мама! Если и Каупер его не трогает... Впрочем, вкусы бывают разные. Элинора мои чувства не свойственны, а потому она может не придавать этому такого значения и быть с ним счастливой. Но если бы его любила я, у меня сердце разбилось бы, едва я услышала бы, как мало чувствительности в его манере читать. Мама, чем больше я узнаю свет, тем больше убеждаюсь, что никогда не встречу того, кого могла бы полюбить по-настоящему. Я требую столь многого! Он должен обладать не только всеми достоинствами Эдварда, но и сочетать их с чарующей внешностью и обворожительностью манер.

– Душечка, не забывай, что тебе нет и семнадцати лет. Отчаиваться еще рано. Почему тебе не может выпасть то же счастье, что и твоей матери? Лишь в одном, моя Марианна, да будет твой удел иным, чем у нее!

Глава 4

– Как жаль, Элинора, – сказала Марианна, – что у Эдварда нет никакого вкуса к рисованию!

– Никакого вкуса? – повторила Элинора. – Почему ты так думаешь? Правда, сам он не рисует, но чужие рисунки доставляют ему большое удовольствие, и, уверяю тебя, он вовсе не лишен вкуса, хотя ему и не представилось случая усовершенствовать его. Будь у него возможность учиться, мне кажется, он рисовал бы прекрасно. Но он так мало доверяет своему суждению, что предпочитает не высказывать о картинах никакого мнения. Однако врожденная верность и простота вкуса ведут его по правильному пути.

Марианна опасалась обидеть сестру и промолчала. Однако то одобрение, какое, по словам Элиноры, вызывали у Эдварда чужие картины, нисколько не походило

на восторженное упоение, которое одно она соглашалась признать истинным вкусом. Тем не менее, и улыбаясь про себя подобному заблуждению, она считала, что породившая его готовность безоговорочно восхищаться Эдвардом делает ее сестре только честь.

– Надеюсь, Марианна, – продолжала Элино́р, – ты не думаешь, что он вообще лишен истинного вкуса? Нет, разумеется, ты так думать не можешь! Ведь ты с ним очень мила, а будь ты о нем столь дурного мнения, то, не сомневаюсь, у тебя не достало бы сил обходиться с ним хотя бы вежливо.

Марианна не знала, что ответить. Ей ни в коем случае не хотелось причинять сестре хоть малейшую боль, но солгать она тоже не могла. В конце концов она сказала:

– Не обижайся, Элино́р, если я не хвалю его так, как он, по-твоему, заслуживает. У меня было меньше случаев, чем у тебя, узнать и оценить все мельчайшие особенности его ума, склонностей и вкуса. Однако я самого высокого мнения о его душевных качествах и здравом смысле. Мне он кажется во всех отношениях приятным и достойным человеком.

– Полагаю, – ответила Элино́р с улыбкой, – подобная рекомендация удовлетворила бы и самых близких его друзей. Право, ничего более лестного сказать невозможно.

Марианна только обрадовалась, что ее сестре довольно и такой похвалы.

– В его здравом смысле и душевных качествах, – продолжала Элино́р, – вряд ли усомнится хоть кто-нибудь из тех, с кем при более коротком знакомстве он вел непринужденные беседы. Лишь застенчивость, побуждающая его к молчанию, мешает сразу понять живость его ума и твердость нравственных устоев. Ты успела сойтись с ним поближе и сумела оценить благородство его натуры. Что же до мельчайших особенностей его склонностей и вкуса, как ты выразилась, волей обстоятельств тебе не представилось столько случаев узнать их, как мне. Мы часто проводили время вместе, когда матушка нуждалась в твоих нежных заботах. Вот каким образом мне открылись его нравственные понятия, его мнения о литературе, об истинном вкусе. И я возьму на себя смелость утверждать, что ум его превосходно образован, любовь к чтению глубока, воображение богато, суждения остры и верны, а вкус тонок и

безупречен. Его способности выигрывают от близкого знакомства так же, как манеры и весь его облик. Да, в первые минуты он не пленяет обходительностью и не кажется красавцем, но лишь до тех пор, пока не замечаешь прекрасного выражения его глаз, добросердечности, какой светится его лицо. Теперь я знаю его так хорошо, что считаю подлинно красивым. Во всяком случае, почти. А ты, Марианна?

– Пока еще нет, Элинор, но очень скоро я начну видеть в нем красавца. Едва ты попросишь, чтобы я полюбила его как брата, и я перестану замечать недостатки в его внешности, как уже не вижу их в его сердце.

Элинор растерялась, выслушав заверения сестры, и пожалела о горячности, с какой невольно защищала Эдварда. Конечно, она была о нем самого высокого мнения и полагала, что уважение это взаимно, но, пока оставалось место для сомнений, безмятежное убеждение Марианны в силе их привязанности никак не могло доставить ей удовольствия. Слишком хорошо она знала, что для Марианны, как и для их матери, простое предположение тотчас оборачивается непоколебимой уверенностью. Для них пожелать чего-то значило надеяться, а надеяться значило ожидать незамедлительного исполнения надежд. Она попыталась объяснить сестре истинное положение дел.

– Не стану отрицать, – сказала Элинор, – что я высоко его ценю, что уважаю его, что он мне нравится.

– Уважаю! Нравится! Как холодно твое сердце, Элинор! Нет, хуже! Ты стыдилась бы, будь оно иным! Посмей повторить эти слова, и я тотчас выйду из комнаты!

Элинор засмеялась.

– Извини меня, – сказала она. – Право же, я вовсе не хотела тебя оскорбить, столь спокойно описывая свои чувства. Верь, что они более горячи, чем я призналась. Короче говоря, верь, что они соразмерны его достоинствам и догадке... то есть надежде, что я ему небезразлична, – однако не безрассудны и не выходят за пределы благоразумия. Но постарайся сверх этого не верить ничему. Я отнюдь не убеждена в его расположении ко мне. По временам оно кажется не столь уж большим. И пока он не объяснился открыто и прямо, вряд ли тебя должно удивлять, что я избегаю поощрять свою симпатию, полагая или называя ее чем-то иным. В глубине души я не сомневаюсь... почти не сомневаюсь

в его сердечном влечении. Но ведь, кроме чувств, надо принять во внимание еще и многое другое. Он не свободен сам распоряжаться своей судьбой. С его матерью мы не знакомы. Но судя по тому, что Фанни порой рассказывает о ее поступках и суждениях, она не кажется добросердечной. И я не ошибусь, предположив, что сам Эдвард прекрасно понимает, какие испытания его ожидают, если он выберет невесту без большого состояния или без титула.

Марианна растерялась, услышав, как далеко они с матерью опередили в воображении действительное положение вещей.

– Так ты еще не помолвлена с ним! – воскликнула она. – Но, бесспорно, ждать этого недолго. Впрочем, у такой отсрочки есть две светлые стороны. Во-первых, я потеряю тебя не так скоро, а, во-вторых, Эдварду представится больше случаев развить тот естественный вкус к твоему любимому занятию, который столь необходим для вашего будущего счастья. Ах, если бы твой прекрасный талант подвигнул его заняться рисованием, как это было бы чудесно!

Элинор сказала сестре то, что действительно думала. Вопреки твердому убеждению Марианны, сама она вовсе не полагала, что склонность ее к Эдварду уже ничем омрачиться не может. Порой в нем замечалась сдержанность, которая, если и не свидетельствовала о равнодушии, все же ничего хорошего не сулила. Сомнения в ее взаимности, даже если он их испытывал, должны были бы внушать ему лишь тревожное волнение, но не унылость, столь часто им владевшую. Разумеется, причиной могло быть зависимое положение, не позволявшее ему дать волю чувствам. Как ей было известно, обхождение с ним его матери не только сделало для него чуждым родительский дом, но и указывало, что обзавестись собственным семейным очагом ему будет дозволено, только если он безропотно покорится ее намерениям устроить для него блестящее будущее. Вот почему, зная все это, Элинор не позволяла себе питать особые надежды. И отнюдь не полагалась на предпочтение, какое он отдавал ей, как упрямо продолжали считать ее мать и сестра. Более того, чем дольше продолжалось их знакомство, тем менее ясным становилось его отношение к ней: в тягостные минуты ей начинало казаться, что это не более чем дружеское расположение.

Но каково бы ни было это чувство, стоило сестре Эдварда его заметить, как оно вызвало у нее тревогу и (что отнюдь не редкость) заставило забыть о вежливости. При первом же удобном случае она сделала из этого повод, чтобы больно задеть свою свекровь, и столь подробно описывала великолепные

ожидания брата, завидные партии, которые миссис Феррарс прочит обоим своим сыновьям, и беды, грозящие молодой особе, если она попытается его завлечь, что миссис Дэшвуд не могла ни пропустить ее намеки мимо ушей, ни сохранить спокойствие. Она ответила ей со всей презрительностью и тотчас вышла из комнаты, исполненная твердой решимости пренебречь неудобствами и лишними расходами, сопряженными со спешным отъездом, лишь бы возможно скорее оградить свою любимую Элинор от подобных оскорбительных намеков.

Ее возмущение не успело остыть, как ей подали доставленное по почте письмо, которое содержало предложение, пришедшееся как нельзя более кстати. Ее родственник, богатый джентльмен, проживавший в Девоншире, готов был сдать ей на самых выгодных условиях небольшой, принадлежавший ему дом. Письмо, написанное им собственноручно, несомненно, свидетельствовало об истинном родственном расположении. Ему стало известно, что она нуждается в собственном крове, и, хотя предоставить ей он может лишь простой деревенский дом, если местоположение этого скромного жилища ей понравится, оно будет подновлено и благоустроено, как она сочтет нужным. Подробно описав дом и сад, он с любезнейшей настойчивостью пригласил ее с дочерьми приехать погостить в Бартон-парке, его имени, чтобы она сама решила, в какой перестройке нуждается Бартонский коттедж – оба дома расположены в одном приходе, – прежде чем сочтет возможным поселиться там. Казалось, он был движим искренним желанием услужить им, и все письмо дышало такой сердечностью, что не могло не обрадовать его кузину, да еще в минуту, когда она в полной мере испытала холодное бездушие тех, кто состоял с ней в более близком родстве. Она не стала тратить времени на размышления или на наведение справок. Решение ее было принято, едва она дочитала письмо до конца. Если какой-нибудь час назад то обстоятельство, что Бартон находится в графстве, столь удаленном от Сассекса, как Девоншир, представилось бы ей препятствием, которое перевесило бы в ее глазах все преимущества подобного плана, теперь оно явилось лучшим доводом в его пользу. Необходимость поселиться вдали от Норленда уже не представлялась невыносимым несчастьем. Напротив, ничего другого она теперь и не желала. Какое блаженство и лишнего часа не оставаться гостьей Фанни! А навсегда покинуть место, столь дорогое сердцу, все же менее мучительно, чем жить там или хотя бы приезжать туда с визитом, пока хозяйкой его остается подобная женщина. Она тотчас написала сэру Джону Мидлтону, что с глубокой радостью принимает его любезное предложение, а затем поспешила показать оба письма дочерям, чтобы заручиться их одобрением, прежде чем отправить ответ.

Элино́р всегда полагала, что было бы благоразумнее не оставаться по соседству с Норлендом среди нынешнего круга их знакомых. И против желания матери переселиться в Девоншир возражать она не могла. К тому же дом, каким его описал сэ́р Джон, был настолько скромн, а плата настолько умеренной, что и тут она не сочла себя вправе сказать что-нибудь против. Вот почему, хотя план этот ее нисколько не обрадовал и ей вовсе не хотелось уезжать так далеко от Норленда, она не стала отговаривать миссис Дэшвуд от ее намерения тотчас отослать письмо с согласием.

Глава 5

Письмо было отослано, и миссис Дэшвуд не отказала себе в удовольствии немедля сообщить пасынку и его супруге, что у нее уже есть дом и она перестанет обременять их своим присутствием, едва он будет приведен в надлежащий порядок. Они выслушали ее с удивлением. Миссис Джон Дэшвуд промолчала, но мистер Дэшвуд выразил надежду, что дом расположен неподалеку от Норленда, и миссис Дэшвуд поспешила ответить, что уезжает в Девоншир. Тут Эдвард быстро взглянул на нее и голосом, полным растерянности и тревоги, которые она легко себе объяснила, повторил:

– В Девоншир! Неужели? Так далеко отсюда? Но куда именно?

Она объяснила, что ее будущий дом находится в четырех милях севернее Эксетера.

– Это всего лишь коттедж, – продолжала она, – но я надеюсь видеть там многих моих друзей. Пристроить одну-две комнаты не составит затруднений. И если мои друзья готовы будут пренебречь неудобствами дальней дороги, чтобы навестить меня, то они могут не опасаться, что мне негде будет их принять.

В заключение она самым учтивым образом пригласила мистера Дэшвуда с супругой непременно погостить у нее в Бартоне и еще более ласково пригласила туда Эдварда. Хотя после недавнего разговора с невесткой она твердо решила покинуть Норленд как можно скорее, у нее не было ни малейшего намерения способствовать тому, ради чего, собственно, Фанни его и завела. Она вовсе не собиралась разлучать Эдварда с Элино́р и даже нарочно поспешила пригласить

его в Бартон именно в эту минуту, чтобы показать миссис Джон Дэшвуд, как мало значит, одобряет она брак между ними или нет.

Мистер Джон Дэшвуд вновь и вновь растолковывал своей мачехе, как он огорчен, что она выбрала дом на таком расстоянии от Норленда: ведь это лишает его возможности помочь ей с перевозкой вещей. Он действительно испытывал досаду, и его добродетель уязвляло то, что у него отняли случай выполнить данное отцу обещание в тех пределах, которые он для себя положил. Вещи были отправлены водой. Груз, если не считать прекрасного фортепьяно Марианны, состоял главным образом из всякого рода белья, столового серебра, фарфора и книг. Миссис Джон Дэшвуд поглядела вслед тюкам со вздохом: мысль, что миссис Дэшвуд, чей доход был ничтожен в сравнении с их собственным, остается хозяйкой прекрасных сервизов и прочего, причиняла ей истинное страдание.

Миссис Дэшвуд сняла коттедж на год. Он был меблирован и готов к обитанию. Формальности никаких затруднений ни с той, ни с другой стороны не составили, и миссис Дэшвуд, прежде чем отправиться на запад, надо было только распорядиться тем имуществом, которое она с собой не брала, а также решить, какая прислуга ей там потребуется. У нее не было привычки мешкать, когда она чего-нибудь хотела, и все эти дела удалось закончить быстро. Лошади, оставленные ей покойным мужем, были проданы вскоре после его кончины, а теперь, по настоянию старшей дочери, она согласилась продать и карету, благо представился удобный случай. Следуй она собственным желанием, то сохранила бы карету ради дочерей, но благоразумный совет Элинор возымел свое действие. Ее же благоразумие ограничило и число прислуги двумя горничными и лакеем, незамедлительно выбранными из тех, кто служил им в Норленде.

Лакей и одна горничная тут же отправились в Девоншир убрать дом к приезду их госпожи, – миссис Дэшвуд не была знакома с леди Мидлтон, а потому предпочла не гостить в Бартон-парке, но сразу поселиться в своем коттедже, предварительно его не осматривая, так как всецело полагалась на описание, которое прислал ей сэр Джон. Желание покинуть Норленд как можно скорее поддерживалось и укреплялось в ней явной радостью, с какой ее невестка предвкушала их отъезд, ограничившись лишь самым холодным приглашением не торопиться со сборами. Теперь настало время, наиболее приличное для того, чтобы ее пасынок выполнил обещание, данное умирающему отцу. Раз он не сделал этого, когда вступил во владение имуществом, то предстоящее расставание с ними давало ему достаточно веский повод поступить должным

образом. Однако миссис Дэшвуд незамедлительно оставила эту надежду, убедившись по множеству оброненных им намеков, что, по его мнению, он оказал им более чем достаточную помощь, почти полгода предоставляя им стол и кров в Норленде. Он то и дело сетовал, что расходы по содержанию дома все время растут, что человек, занимающий не последнее положение в свете, обречен на бесчисленные непредвиденные траты, и начинало даже казаться, что он бьется в тисках нужды и даже пенса не в состоянии кому-нибудь уделить.

Не прошло и нескольких недель после получения первого письма от сэра Джона Мидлтона, как будущее жилище миссис Дэшвуд и ее дочерей было уже совсем готово к их приему, и им оставалось только отправиться туда.

Прощаясь с местом, столь дорогим их сердцу, они пролили немало слез.

– Милый, милый Норленд! – твердила Марианна, прогуливаясь в одиночестве перед домом в последний вечер. – Когда перестану я тосковать по тебе! Когда почувствую себя дома где-нибудь еще! О, счастливая обитель, если бы ты могла понять, как я страдаю сейчас, созерцая тебя с места, откуда, быть может, мне уже более не доведется бросить на тебя хотя бы взгляд! И вы, столь хорошо знакомые мне деревья! Но вы пребудете такими же, как теперь. Ни единого листка вы не уроните оттого, что нас здесь более нет, ни единая ветка не засохнет, хотя мы уже не сможем любоваться вами! Да, вы ни в чем не изменитесь, не ведая ни о радости, ни о сожалениях, вами рождаемых, не замечая, кого теперь укрываете в своей сени! Но кто останется здесь восхищаться вами?

Глава 6

Грусть не лучший спутник в пути, а потому первое время путешествие казалось им и скучным, и утомительным. Однако же, когда оно приблизилось к концу, интерес к краю, где им предстояло жить, рассеял уныние, а открывшийся перед ними вид Бартонской долины вернул им бодрость духа, так веселила она глаз густыми рощами и сочными лугами. Они проехали более мили по прихотливо вьющейся дороге и оказались перед новым своим домом, выходящим фасадом на зеленый дворик, куда они и вошли через крепкую калитку.

Бартонский коттедж как дом, хотя и не большой, был удобен и уютен, но как сельский коттедж оставлял желать лучшего: никакой беспорядочности в постройке, крыша черепичная, ставни не выкрашены зеленой краской, стены не увиты жимолостью. Узкий коридор вел прямо к задней двери, выходившей в сад. По сторонам его располагались две парадные комнаты, обе примерно шестнадцать на шестнадцать футов. За ними ютились кухня, кладовая, прочие такие же помещения и лестница. Второй этаж занимали четыре спальни, а над ними помещались два просторных чердака. Старинной от коттеджа не веяло, и содержался он в образцовом порядке. Разумеется, в сравнении с Норлендом это было бедное и тесное жилище, но слезы, вызванные такими мыслями, едва они переступили порог, скоро высохли. Радость, с какой их встретили слуги, послужила им утешением, и каждая решила быть веселой ради остальных трех. Сентябрь едва начался, погода стояла ясная, в свете солнца все вокруг производило самое приятное впечатление, и они уже не сомневались, что не пожалеют о своем переезде сюда.

Расположен был дом очень живописно. Позади поднимались высокие холмы, продолжавшиеся также слева и справа. Некоторые были пологими и травянистыми, другие поросли лесом или же их покрывали поля. Рассыпанная по склону одного из них деревушка Бартон издали казалась прелестной. Вид же перед фасадом открывался весьма широкий – на всю долину и просторы за ней. Холмы, дугой огибавшие коттедж, замыкали долину с этого конца, но за узким проходом между двумя самыми крутыми она вилась дальше, хотя носила уже другое название.

Размерами и меблировкой коттеджа миссис Дэшвуд осталась более или менее довольна. Правда, очень многого из того, что ей, привыкшей к светской жизни, представлялось совершенно необходимым, тут недоставало. Но она всегда любила улучшать и добавлять, тем более что в ее распоряжении теперь оказалась порядочная сумма наличными, позволявшая подумать о том, чтобы обставить комнаты с желанным изяществом.

– Дом, разумеется, для нашей семьи маловат, но пока мы потерпим, потому что дело идет к зиме и начинать что-нибудь уже поздно. Однако весной, если у меня найдутся лишние деньги, а найтись они должны, можно будет подумать и о перестройке. Обе нижние комнаты слишком тесны, чтобы принимать наших друзей, которых я надеюсь часто здесь видеть. Вот если присоединить к одной из них коридор и, пожалуй, часть второй, превратив остальную часть в переднюю, то с гостиной, которую добавить очень просто, с еще одной спальней

над ней и мансардой домик у нас будет очень уютный. Жаль, что лестница не парадная. Но нельзя же требовать всего! Впрочем, почему бы не сделать ее шире? Весной мне будет известно, какими средствами могу я располагать, и тогда мы решим, что и как тут изменить.

В ожидании же того, как все эти переделки будут произведены на суммы, которые намеревалась откладывать из пятисот фунтов годового дохода женщина, никогда не умевшая ни на чем экономить, они благоразумно удовлетворились коттеджем в его настоящем виде. Каждая занялась собственной комнатой, расставляя книги и безделушки, чтобы почувствовать себя дома. Фортепьяно Марианны было распаковано и бережно водворено на отведенное для него место, а рисунки Элинон украсили стены гостиной.

На следующий день вскоре после завтрака их отвлек от этих занятий владелец коттеджа, который приехал, чтобы приветствовать их в Бартоне и осведомиться, не нуждаются ли они с дороги в чем-либо: его дом и сад к их услугам. Сэр Джон Мидлтон оказался представительным мужчиной лет сорока. Он, бывало, гостил в Стэнхилле, но так давно, что его молодые родственницы не сохранили о нем никаких воспоминаний. Лицо у него сияло добротой, а манеры были не менее сердечны, чем его письмо. Он, видимо, искренне радовался их приезду и от души хотел помочь им устроиться как можно удобней, многократно выражая горячую надежду, что отношения между ними и его семьей будут самыми дружественными. И с таким радушием приглашал их ежедневно обедать в Бартон-парке, пока они окончательно не устроятся, что настойчивость эта, хотя и несколько выходила за пределы требований хорошего тона, никого обидеть не могла. Любезность его не ограничивалась одними словами: всего лишь час спустя после того, как он с ними простился, в коттедж явился лакей с большой корзиной, полной овощей и плодов, а вечером была прислана дичь. Кроме того, он, не слушая никаких возражений, обещал доставлять их письма с почты и на почту, а также ежедневно присылать им свою газету – этим они доставят ему величайшее удовольствие.

Леди Мидлтон весьма учтиво поручила ему передать миссис Дэшвуд, что она желала бы нанести ей визит, как только это будет им удобно. Ответом было столь же вежливое приглашение, и они познакомились с ее милостью на следующий же день.

Разумеется, им не терпелось увидеть особу, от которой в столь большой мере зависело, насколько приятной будет их жизнь в Бартоне, и наружность ее

произвела на них самое выгодное впечатление. Леди Мидлтон было не более двадцати шести – двадцати семи лет. Красивые черты, высокая статная фигура, утонченное изящество – все располагало к ней. Ее манеры обладали полированностью, какой не хватало ее мужу. Но им не повредила бы некоторая толика его прямоты и сердечности, и визит ее оказался достаточно долгим для того, чтобы их первые восторги поугасли. Безупречная светскость сочеталась с холодной сухостью, беседа же исчерпывалась общепринятыми вопросами и самыми банальными замечаниями.

Впрочем, разговор поддерживался без труда: сэр Джон не отличался молчаливостью, а леди Мидлтон благоразумно привезла с собой старшего сына – прелестного шестилетнего малютку, и при малейшей заминке в их распоряжении была неисчерпаемая тема. Хозяйки не преминули осведомиться, как его зовут, сколько ему лет, а также восхищались его миловидностью и задавали ему вопросы, на которые отвечала его маменька, пока он, потупившись, прижимался к ней, и ее милость не переставала изумляться тому, как он застенчив в обществе, хотя дома болтает без умолку. Во время светских визитов ребенок, право же, необходим, чтобы разговор не иссякал. Вот и на этот раз потребовалось не менее десяти минут, чтобы определить, на кого более похож мальчик – на папеньку или маменьку – и в чем это сходство заключается: разумеется, никто не сходилась во мнении и все поражались, как слепы остальные.

Миссис Дэшвуд и ее дочерям вскоре представился случай восхититься достоинствами и младших детей, так как сэр Джон не успокоился, пока не заручился их обещанием отобедать в Бартон-парке на следующий день.

Глава 7

Склон холма заслонял Бартон-парк от коттеджа, но до него было не более полумили, и, спускаясь в долину по пути в свое новое жилище, они проехали почти рядом с ним. Дом был красивый и обширный, под стать образу жизни Мидлтонов столь же светскому, как и гостеприимному. Второе отвечало наклонностям сэра Джона, как первое – наклонностям его супруги. Под их кровом почти все время гостили какие-нибудь знакомые, и общество там собиралось самое разнообразное, как нигде более в округе. Только так могли

супруги быть счастливы, ибо, как ни отличались они по складу характера и манерам, между ними существовало одно неоспоримое сходство, заключавшееся в полном отсутствии каких-либо талантов или серьезных интересов, что почти не оставляло им занятий, помимо тех, которые предлагает светская жизнь. Сэр Джон был любитель охоты, леди Мидлтон была матерью. Он ездил на лисью травлю и стрелял дичь, она баловала своих детей. Ничему другому они посвятить себя не умели. Леди Мидлтон имела перед мужем то преимущество, что потакать детским прихотям она могла круглый год, тогда как половину этого срока ему возбранялось предаваться своей страсти. Однако постоянные поездки в гости и прием гостей у себя заполняли пустоту, оставленную природой и воспитанием, поддерживали веселость сэра Джона и позволяли его жене блистать безупречностью манер.

Леди Мидлтон гордилась изысканностью своего стола, а также и тем, как поставлен ее дом во всех остальных отношениях, и в их открытом образе жизни находила главным образом удовлетворение своему тщеславию. Но сэр Джон искренне любил общество и обожал собирать вокруг себя молодежь в числе даже большем, чем мог вместить его дом, – и чем громче шум они поднимали, тем приятнее ему было. В нем наиболее молодая часть его соседей находила истинного благодетеля: летом он постоянно приглашал всех на пикники, откусать ветчины и холодных цыплят на свежем воздухе, а зимой устраивал столько домашних танцевальных вечеров, что лишь ненасытные пятнадцатилетние барышни могли пожелать, чтобы они бывали чаще.

Появление в их краях любой новой семьи всегда приводило его в восхищение, а обитательницы, которых он раздобыл для своего коттеджа, ни в чем не обманули его надежд. Барышни Дэшвуд были молоды, хороши собой и держались с приятной естественностью. Большого и не требовалось: естественность придавала очарование и уму миловидной девицы. Добряк по натуре, он был счастлив предложить приют тем, кого судьба лишила былых благ. А потому, оказав услугу своим дальним родственницам, он доставил радость собственному сострадательному сердцу, поселив же в коттедже семью, состоящую из одних лишь представительниц прекрасного пола, он ублажил в себе охотника, ибо охотник, хотя и уважает тех мужчин, которые делят его увлечение, поостережется селить их у себя в поместье, ибо тогда ему придется делить с ними и свою дичь.

Сэр Джон встретил миссис Дэшвуд и ее дочерей на пороге, с безыскусной искренностью приветствуя их в Бартон-парке, а затем по пути в гостиную, как и

накануне, выразил барышням свое огорчение, что на этот раз ему не доведется познакомить их с любезными молодыми кавалерами. Кроме него самого, сказал он, их нынче ждет общество лишь еще одного джентльмена – его дорогого друга, который гостит в Бартон-парке, но он не особенно молод и не особенно весел. Все же он уповает, что они извинят его за столь скромный прием и не усомнятся, что впредь все будет по-иному. Утром он побывал у некоторых соседей, стараясь собрать общество побольше, но теперь ведь вечера лунные и все уже куда-нибудь да приглашены. К счастью, не далее как час назад в Бартон приехала погостить матушка леди Мидлтон, дама очень приятного живого нрава, а потому барышням, быть может, не придется скучать так, как они опасались.

Барышни и их мать заверили любезного хозяина, что удовольствия от двух новых знакомств им будет вполне достаточно.

Матушка леди Мидлтон, добродушная веселая женщина, уже в годах, очень говорливая, выглядела всем довольной и порядком вульгарной. Она не скупилась на шутки и смех и до конца обеда успела обронить множество прозрачных намеков на тему о поклонниках и женихах, выражая опасения, не остались ли их сердечки в Сассексе, и заявляя, что она видит, видит, как они краснеют, – что отнюдь не соответствовало действительности. Марианна страдала за сестру и посматривала на нее с такой тревогой, что Элинор ее сочувственные взгляды мучили куда больше неделикатных поддразниваний миссис Дженнингс.

Полковник Брэндон так разительно не походил на сэра Джона, что, казалось, столь же не подходил для роли его друга, как леди Мидлтон для роли его жены, а миссис Дженнингс для роли матери этой последней. Полковника отличали молчаливость и серьезность, что, впрочем, отнюдь не лишало его внешность известной привлекательности, хотя Марианна с Маргарет и признали его про себя скучнейшим старым холостяком – ведь ему было никак не меньше тридцати пяти лет! Тем не менее, хотя лицо его и не поражало красотой черт, оно несло на себе печать благообразия, а держался он как истый джентльмен.

Ничто в этом обществе не пробудило в миссис Дэшвуд и ее дочерях надежды на дальнейшее интересное знакомство, однако холодная бесцветность леди Мидлтон настолько их отталкивала, что по сравнению с ней и серьезность полковника Брэндона, и даже неумная шутливость сэра Джона и его тещи приобретали некоторое обаяние. Леди Мидлтон оживилась, только когда после

обеда к обществу присоединились четверо ее шумных детей: они поминутно ее дергали, порвали ей платье и положили конец всякому разговору, кроме как о них одних.

Вечером, когда выяснилось, что Марианна – прекрасная музыкантша, ее попросили сыграть. Отперли инструмент, все приготовились внимательно слушать, и Марианна, у которой к тому же был чудесный голос, уступая их настояниям, пропела почти все романсы, которые леди Мидлтон привезла в Бартон-парк после свадьбы и которые с тех пор так и лежали на фортепьяно в полном покое, ибо ее милость отпраздновала свое замужество тем, что навсегда оставила музыку, хотя, по словам ее матушки, она просто блистала за фортепьяно, а по ее собственным – очень любила играть.

Марианну осыпали похвалами. После окончания каждой песни сэр Джон громогласно выражал свое восхищение – не менее громогласно, чем рассказывал что-нибудь остальным гостям, пока она пела. Леди Мидлтон часто ему пеняла, удивлялась вслух тому, как можно хотя бы на мгновение перестать упиваться музыкой, и просила Марианну непременно, непременно спеть ее любимый романс – как раз тот, который Марианна только что допела. Один полковник Брэндон слушал ее без изъявлений восторга, но так внимательно, что это было лучшим комплиментом. И она почувствовала к нему некоторое уважение, выделив его среди прочих слушателей, которые без всякого стеснения выдавали полное отсутствие у них изящного вкуса. Удовольствие, которое доставляла ему музыка, хотя и не могло сравниться с экстазом, подобным ее собственному, было все же много предпочтительнее омерзительной глухоты остальных. К тому же она вполне понимала, что в тридцать пять лет можно утратить былую способность бурно чувствовать и упиваться наслаждениями, которые дарует искусство, а потому была готова извинить дряхлость полковника, как того требует милосердие.

Глава 8

Миссис Дженнингс осталась состоятельной вдовой с двумя дочерьми, и обе они сделали прекрасные партии, а потому теперь у нее не было иных забот, кроме того как переженить между собой весь прочий свет. Тут уж она не знала устали и, насколько хватало ее сил, не упускала ни единого случая сосватать знакомых

ей молодых людей и девиц. С поразительной быстротой она обнаруживала сердечные склонности и уж тут давала себе полную волю вызывать краску на щеках юной барышни и пробуждать в ее душе тщеславие, прохаживаясь по поводу власти, которую эта барышня приобрела над тем-то или тем-то кавалером. Такого рода пронизательность помогла ей вскоре после ее приезда в Бартон решительнейшим образом объявить, что полковник Брэндон по уши влюбился в Марианну Дэшвуд. Она сразу заметила, к чему дело идет, еще в первый же вечер их знакомства, когда он с таким вниманием слушал, как она пела. После же того как Мидлтоны, возвращая визит, отобедали в коттедже, уже никаких сомнений остаться не могло: он опять внимательно слушал, как она поет. Да-да, это так, и не спорьте! И какая прекрасная пара будет – он ведь богат, а она красива. Миссис Дженнингс мечтала женить полковника Брэндона с той самой поры, как впервые увидела его на свадьбе своей дочери с сэром Джоном. А при виде любой недурной собой девицы она тотчас принималась мысленно подыскивать ей хорошего мужа.

Сама же она незамедлительно начала извлекать выгоду из собственных предположений, не скупясь на шуточки по адресу их обоих. В Бартон-парке она посмеивалась над полковником, а в коттедже – над Марианной. Первого ее поддразнивания, вероятно, оставляли совершенно равнодушным ко всему, что касалось его одного, Марианна же вначале их просто не понимала, а когда разобралась, то не знала, улыбнуться ли подобной нелепости или возмутиться бесчувственности подобных насмешек над почтенными годами полковника и унылым одиночеством старого холостяка.

Миссис Дэшвуд, полагая, что человек, на пять лет моложе ее самой, отнюдь не так уж близок к дряхлости, как рисовалось юному воображению ее дочери, попробовала очистить миссис Дженнингс от обвинения в столь бессердечных намерениях.

– Однако, мама, нелепость таких выдумок вы отрицать не станете, пусть, по-вашему, злы они и непреднамеренно. Бесспорно, полковник Брэндон моложе миссис Дженнингс, но мне он в отцы годится, и даже если некогда обладал достаточной пылкостью, чтобы влюбиться, так, несомненно, давным-давно ее утратил. Невообразимо! Если уж годы и старческая слабость не ограждают мужчину от подобных неуместных намеков, то когда же он может считать себя в безопасности от них?

– Старческая слабость! – повторила Элинора. – Неужели ты говоришь это серьезно? Я охотно допускаю, что тебе он кажется много старше, чем маме, но, согласишься, его еще не сковал паралич!

– Разве ты не слышала, как он жаловался на ревматизм? И разве это не вернейший признак дряхлости?

– Девочка моя! – со смехом сказала ее мать. – Если так, то ты должна жить под вечным страхом моей скорой кончины. И каким чудом кажется тебе, что я дожила до целых сорока лет!

– Мама, вы ко мне несправедливы! Я прекрасно знаю, что полковник Брэндон еще не в тех годах, когда друзьям надо опасаться его смерти от естественных причин. Он вполне может прожить еще хоть двадцать лет, но тридцать пять – не тот возраст, когда помышляют о браке.

– Пожалуй, – заметила Элинора, – тридцати пяти и семнадцати не стоит помышлять о браке между собой. Но если бы нашлась одинокая женщина лет двадцати семи, то в свои тридцать пять полковник Брэндон вполне мог бы сделать ей предложение.

– Женщина в двадцать семь лет, – объявила Марианна после недолгого раздумья, – уже должна оставить всякую надежду вновь испытать самой или внушить кому-нибудь нежные чувства, и, если дома ей живется плохо или если у нее нет состояния, она, полагаю, может дать согласие взять на себя обязанности сиделки, ради обеспеченности, которую обретет в замужестве. Вот почему брак с женщиной в годах вполне приемлем. Он заключается ради взаимного удобства, и свет не найдет в нем ничего предосудительного. В моих же глазах подобный брак – вообще не брак. В моих глазах это торговая сделка, в которой каждая сторона находит собственную выгоду.

– Я знаю, – возразила Элинора, – тебя невозможно убедить, что женщина в двадцать семь лет вполне способна питать к тридцатипятилетнему мужчине подлинную любовь и лишь поэтому дать согласие стать спутницей его жизни. Но я отнюдь не согласна с тем, как ты уже приковала полковника Брэндона и его супругу к вечному одру болезни потому лишь, что вчера он мимоходом пожаловался – а день, не забывай, был очень холодный и сырой – на легкое ревматическое покалывание в плече.

– Но он упомянул про фланелевый жилет! – сказала Марианна. – А для меня фланелевые жилеты неотъемлемы от ломоты в костях, ревматизма и прочих старческих немощей.

– Если бы он слег в горячке, ты презирала бы его куда меньше! Ну, признайся, Марианна, ведь воспаленное лицо, потускневшие глаза и частый пульс горячки таят для тебя особую привлекательность, не так ли?

С этими словами Элинор вышла из комнаты, и Марианна тотчас обернулась к матери.

– Мама! – воскликнула она. – Не скрою от вас, что мои мысли все время обращаются к болезням. Я не сомневаюсь, что Эдвард Феррарс тяжело занемог. Мы здесь уже вторую неделю, а он все не едет! Лишь серьезный недуг может объяснить подобное промедление. Что еще задержало бы его в Норленде?

– Ты ждала его так скоро? – сказала миссис Дэшвуд. – Я тут иного мнения. Меня скорее тревожит, что перед нашим отъездом, когда я говорила о том, как он будет гостить у нас в Бартоне, то не замечала в нем ни особой радости, ни готовности принять мое приглашение. А Элинор полагает, что он уже должен был примчаться сюда?

– Я с ней об этом не говорила, но как же иначе?

– Мне кажется, ты ошибаешься. Ведь вчера, когда я упомянула, что в комнате для гостей надо бы заменить каминную решетку, она ответила, что торопиться незачем, так как понадобится эта комната вряд ли очень скоро.

– Как странно! Что это может, означать? Впрочем, все их поведение друг с другом необъяснимо. Каким холодным, каким сдержанным было их прощание! Как спокойно они разговаривали накануне, в свой последний вечер вместе! Эдвард простился с Элинор совсем так же, как со мной, – с братской дружественностью, не более. В последнее утро я дважды нарочно оставляла их наедине, и оба раза он тут же, непонятно почему, выходил следом за мной. И Элинор, расставаясь с Норлендом и Эдвардом, плакала гораздо меньше меня. А теперь она все время держит себя в руках. Ни унылости, ни меланхолии! Притом ничуть не избегает общества, не уединяется, не тоскует!

Глава 9

Дэшвуды теперь уже устроились в Бартоне достаточно удобно. Дом, сад и ближние окрестности стали для них привычными, и они обратились к занятиям, которым Норленд был обязан половиной своего очарования, и занятия эти вновь приносили им ту радость, какой они не знали в Норленде после кончины отца. Сэр Джон Мидлтон, первые две недели навещавший их ежедневно и не привыкший у себя дома ни к чему подобному, не умел скрыть своего изумления, всегда заставляя их за каким-нибудь делом.

Но, если не считать обитателей Бартон-парка, их редко кто посещал, так как вопреки настойчивым советам сэра Джона почаще видеться с соседями и постоянным заверениям, что его карета всегда к их услугам, дух независимости в сердце миссис Дэшвуд пересиливал желание видеть своих девочек в обществе, и она решительно отказывалась делать визиты соседям, кроме тех, кого они могли навещать и пешком. А таких было мало, и не все они принимали визиты. Милях в полутора от коттеджа в узкой извилистой Алленемской долине, которая, как упоминалось выше, была продолжением Бартонской, барышни во время одной из первых своих прогулок оказались вблизи внушительного вида старинного господского дома, который воспламенил их воображение, напомнив им Норленд, и обеим захотелось побывать в нем. Однако, справившись, они узнали, что владелица, пожилая, весьма почтенная дама, к несчастью, слишком слаба здоровьем, чтобы бывать в обществе, никуда не выезжает и никого у себя не принимает.

Окрестности коттеджа изобиловали прелестными уголками для прогулок. А когда распутица мешала любоваться красотами долин, видные почти из всех окон высокие холмы, пусть более суровые, так и манили насладиться чистейшим воздухом на их вершинах. Вот к такому-то холму в одно достопамятное утро и направили свои шаги Марианна с Маргарет, соблазненные солнечными лучами, порой прорывавшимися сквозь тучи. Перед этим два дня дождь лил не переставая, и они истомились от вынужденного заключения в четырех стенах. Мать и старшая сестра, не слишком доверяя затишью, не захотели расстаться с карандашами и книгой, вопреки уверениям Марианны, что скоро совсем прояснится и в небе над их холмами не останется ни единой хмурой тучи, а потому младшие барышни решили пройтись вдвоем.

Они весело поднимались по склону, радостно приветствовали каждый открывшийся в вышине клочок голубизны как доказательство своей правоты и с восторгом подставляли лицо порывам юго-западного ветра, жалея, что неразумные опасения помешали их матери и Элинор разделить с ними это восхитительное удовольствие.

– Можно ли вообразить что-нибудь чудеснее? – сказала Марианна. – Маргарет, мы пробудем здесь два часа, не меньше!

Маргарет охотно согласилась, и, звонко смеясь, они продолжали идти навстречу ветру еще минут двадцать, но внезапно тучи у них над головой сомкнулись и струи косога дождя принялись хлестать их по лицу. Захваченные врасплох, они с огорчением вынуждены были повернуть обратно, так как ближе дома укрыться было негде. Однако одно утешение нашлось и тут: капризы погоды смягчали строгость приличий, позволяя пуститься бегом вниз по крутому склону, который вел прямо к самой их калитке.

И они побежали. Марианна было опередила сестру, но вдруг споткнулась и упала, а Маргарет, не в силах остановиться, чтобы помочь ей, благополучно достигла подножия холма.

Но навстречу им поднимался какой-то джентльмен с охотничьим ружьем и двумя пойнтерами. От упавшей Марианны его отделяло лишь несколько шагов, и, положив ружье на траву, он бросился к ней. Она попробовала встать, но удержалась на ногах лишь с большим трудом, так как вывихнула щиколотку. Джентльмен предложил свою помощь, но, заметив, что стыдливость препятствует ей согласиться на требования необходимости, без дальних слов подхватил ее на руки и бережно снес вниз. Маргарет оставила калитку открытой, и он, пройдя через сад, последовал за Маргарет в дом и расстался со своей ношей только в гостиной, где осторожно опустил ее в кресло.

Элинор и миссис Дэшвуд при их появлении растерянно встали, глядя на него с явным удивлением и тайным восхищением, какого не могла не внушить им его наружность, а он принес извинения за свое внезапное вторжение, объяснив причину с такой учтивой простотой и непринужденностью, что его бесспорная красота приобрела новое обаяние благодаря чарующему голосу и изысканной речи. Окажись он старым, безобразным и вульгарным, миссис Дэшвуд испытывала бы к нему за услугу, оказанную ее девочке, точно такую же признательность, но молодость, благородный облик и изящество придали его

поступку в ее глазах особый интерес.

Она несколько раз поблагодарила его, а затем с обычной своей мягкой ласковостью пригласила сесть. Но он отказался; одежда его совсем промокла и к тому же выпачкана в глине. Тогда она осведомилась, кому столь обязана. Он ответил, что его фамилия Уиллоби, что он гостит сейчас в Алленеме, а затем попросил оказать ему честь, разрешив завтра побывать у них, чтобы он мог справиться о здоровье мисс Дэшвуд. Честь эту ему оказали с большой охотой, после чего он удалился под проливным дождем, что сделало его еще интереснее.

Благородная красота и редкое изящество их нового знакомого тотчас стали темой всеобщего восхищения: необыкновенная эта привлекательность в сочетании с галантностью придавала особую забавность маленькому приключению Марианны. Сама она, в отличие от матери и сестер, почти его не разглядела. Смущение, которое заставило ее заалеть, когда он подхватил ее в объятия, не позволило ей в гостиной поднять на него глаза. Но и того, что ей удалось заметить, было достаточно, чтобы она присоединилась к общему хору с бурностью, которая всегда сопутствовала ее похвалам. Внешность его и манеры были в точности такими, какими она в воображении наделяла героев любимейших своих романов, а то, как он без лишних церемоний отнес ее домой, говорило о смелости духа и совершенно оправдывало в ее мнении такую вольность. Все связанное с ним было исполнено чрезвычайного интереса. Прекрасная фамилия, и живет он в прелестнейшей из окрестных деревушек, а охотничья куртка, бесспорно, самый бесподобный наряд для мужественного молодого человека. Фантазия ее работала без устали, мысли были одна приятнее другой, и она даже не вспоминала о ноющей щиколотке.

Сэр Джон явился к ним еще до истечения утра, едва наступило новое затишье, позволившее ему выйти из дома. Ему тотчас поведали о том, что случилось с Марианной, и с живейшим волнением задали вопрос, не известен ли ему джентльмен по фамилии Уиллоби, который живет в Алленеме.

– Уиллоби! – вскричал сэр Джон. – Как! Неужели он приехал? Превосходная новость, превосходная! Я завтра же побываю в Алленеме и приглашу его отобедать у нас в четверг.

– Так вы знакомы с ним? – сказала миссис Дэшвуд.

– Знаком с ним? Разумеется! Он же приезжает сюда каждый год.

– И что он за человек?

– Лучше не найти, уверяю вас! Очень недурно стреляет, а уж такого отчаянного наездника во всей Англии не сыщется.

– И ничего больше вы о нем сказать не можете! – негодуяще воскликнула Марианна. – Но каков он в обществе? В чем его вкусы, склонности, гений?

Сэр Джон был несколько сбит с толку.

– Об этом я, право, ничего не знаю. Но он добрый малый. А пойнтера лучше его черной суки я не видывал. Он взял ее с собой сегодня?

Но Марианна была не более способна описать масть собаки, чем сэр Джон – тонкости души ее хозяина.

– Но кто он такой? – спросила Элинора. – Откуда он? У него в Алленеме есть собственный дом?

Вот подобными сведениями сэр Джон располагал и не замедлил сообщить им, что никакой собственности у мистера Уиллоби в здешних краях нет, а приезжает он погостить у старой владелицы Алленем-Корта, потому что он ее родственник и наследник.

– Да-да, – продолжал сэр Джон, – его очень и очень стоит поймать, мисс Дэшвуд, уж поверьте мне. К тому же у него есть и собственное недурное имение в Сомерсетшире. На вашем месте я не уступил бы его младшей сестрице, как бы там она ни падала на кручах. Нельзя же, чтобы все кавалеры доставались одной мисс Марианне. Если она не поостережется, как бы Брэндон не взревновал!

– Мне кажется, – со снисходительной улыбкой вмешалась миссис Дэшвуд, – мистер Уиллоби может не опасаться, что мои дочери будут пытаться поймать его, как вы выразились. Они воспитаны не в тех правилах. Мужчинам мы ничем не угрожаем, даже самым богатым. Однако я рада заключить из ваших слов, что он благородный молодой человек и знакомство с ним не будет нежелательным.

– Отличнейший малый, каких поискать, – повторил сэр Джон свою рекомендацию. – Помню, в прошлый сочельник у нас был маленький вечер. Так он танцевал с восьми часов вечера до четырех утра и даже не присел ни разу!

– Неужели! – воскликнула Марианна, и глаза ее заблестели. – И разумеется, грациозно, с самозабвением?

– Весьма. А в восемь утра уже встал, чтобы отправиться пострелять дичь.

– Как мне это нравится! Таким и должен быть молодой человек. Чем бы он ни занимался, пусть в нем горит жар увлечения, пусть он не знает усталости!

– Э-э-э! Понимаю, понимаю, – объявил сэр Джон. – Теперь вы приметесь ловить в свои сети его, а про беднягу Брэндона и думать забудете!

– Этого выражения, – с горячностью возразила Марианна, – я особенно не терплю. Не выношу вульгарности, которые почему-то принимают за остроумие. А «ловить в сети» и «покорять» – самые из них невыносимые. Какой невзыскательный вкус, какая грубость чувств кроются в них. А если когда-нибудь они и казались оригинальными, то время давно отняло у них и такое оправдание.

Сэр Джон не вполне понял эту отповедь, но расхохотался так, словно выслушал что-то чрезвычайно забавное, а затем ответил:

– Вот-вот! Уж вы-то будете покорять направо и налево. Бедняга Брэндон! Он-то давно влюблен по уши, а его поймать в сети стоит, уж поверьте мне, как там ни падай с круч и ни вывихивай щиколотки!

Глава 10

Спаситель Марианны, как, блеснув красноречием, но слегка уклонившись от истины, назвала Уиллоби Маргарет, явился в коттедж спозаранку узнать о здоровье мисс Марианны. Миссис Дэшвуд приняла его не просто любезно, но с сердечностью, рожденной и признательностью, и тем, что она услышала о нем

от сэра Джона. Этот визит должен был уверить молодого человека, что в семье, с которой свела его судьба, царят благовоспитанность, утонченность, взаимная привязанность и домашняя гармония. В чарах же их самих убеждать его вторично необходимости не было ни малейшей.

У мисс Дэшвуд были очень нежный цвет лица, черты которого отличались правильностью, и прелестная фигура. Но Марианна не уступала сестре в миловидности и даже превосходила ее. Может быть, сложена она была не столь гармонично, но более высокий рост лишь придавал ее осанке известную величавость, а лицо было таким чарующим, что называвшие ее красавицей меньше уклонялись от истины, чем это обычно при светских похвалах.

Прозрачная смуглость кожи не умаляла яркости румянца, все черты обворожали, улыбка пленяла, а темные глаза искрились такой живостью и одушевлением, что невольно восхищали всех, кто встречал их взор. От Уиллоби в первые минуты их блеск был скрыт смущением, которое вызвали воспоминания о его услуге. Но когда оно рассеялось, когда она вновь стала сама собой и успела заметить, что безупречность манер в нем сочетается с открытым и веселым характером, а главное, когда он признался в страстной любви к музыке и танцам, она одарила его взглядом, полным такого горячего одобрения, что до конца визита он обращал почти все свои слова к ней.

Чтобы вовлечь ее в разговор, достаточно было упомянуть какое-нибудь любимое ее занятие. В подобных случаях промолчать у нее не доставало силы, и говорила она со всем жаром искренности, без тени робости или сдержанности. Как они с Уиллоби не замедлили обнаружить, танцы и музыка доставляли им равное наслаждение, и причина заключалась в общности их склонностей и суждений. Марианне тотчас захотелось узнать его мнение о других подобных же предметах, и она заговорила о книгах, перечисляя любимых авторов и описывая их достоинства столь восторженно, что молодой человек двадцати пяти лет был бы бесчувственным истуканом, если бы тотчас же не превратился в их пылкого поклонника, даже не прочитав ни единой принадлежащей им строчки. Вкусы и тут оказались поразительно схожими. И он и она обожали одни и те же книги, одни и те же страницы в них, а если и обнаруживались какие-нибудь разногласия, все возражения тотчас уступали силе ее доводов и пламени ее глаз. Он соглашался со всеми ее приговорами, вторил всем ее хвалам, и, задолго до того как его визит подошел к концу, они беседовали со всей свободой давних знакомых.

– Ну, что же, Марианна, – сказала Элинор, едва он откланялся, – мне кажется, за одно короткое утро ты успела очень много! Тебе уже известно, какого мнения мистер Уиллоби придерживается о всех сколько-нибудь важных предметах. Ты знаешь, что он думает о Каупере и Вальтере Скотте, ты убедилась, что достоинства их он ценит так, как они того заслуживают, и получила все возможные заверения, что Поуп восхищает его в должной мере и не более. Но если и дальше предметы для разговора будут обсуждаться с такой поразительной быстротой, долго ли вам удастся поддерживать знакомство? Скоро все интересные темы исчерпаются! Достаточно еще одной встречи, чтобы он изложил свои взгляды на красоту пейзажей и вторые браки, и тебе больше не о чем будет его спрашивать...

– Элинор! – вскричала Марианна. – Честно ли это? Справедливо ли? Неужели мои интересы так убоги? Но я поняла твой намек. Я была слишком непринужденной, слишком откровенной, слишком счастливой! Я погрешила против всех светских правил. Я была искренней и чистосердечной, а не сдержанной, банальной, скучной и лицемерной. Говори я только о погоде и плохих дорогах, открывая рот не чаще двух раз в двадцать минут, мне не пришлось бы выслушать этот упрек.

– Душечка, – поспешила сказать миссис Дэшвуд, – не надо обижаться на Элинор. Она ведь просто пошутила. Разумеется, я строго побранила бы ее, если бы она и правда осуждала радость, которую доставили тебе разговоры с нашим новым знакомым.

И Марианна тут же перестала сердиться.

Уиллоби, со своей стороны, всем поведением показывал, как приятно ему знакомство с ними и как хотел бы он его упрочить. Он бывал у них каждый день. Вначале предлогом служило желание справиться о здоровье Марианны, однако ласковый прием, который он встречал, с каждым разом становился все ласковее, и необходимость в этом предлоге отпала прежде, чем выздоровление Марианны заставило бы отказаться от него. Она не выходила из дома несколько дней, но никогда еще невольное заключение не протекало столь необременительно. Уиллоби обладал недурными талантами, живым воображением, веселостью нрава, умением держаться с дружеской непринужденностью. Он словно создан был завоевать сердце Марианны, ибо ко всему перечисленному добавлялась не только красивая наружность, но и природная пылкость ума, которая пробуждалась и питалась ее собственным примером, ей же представлялась главным его очарованием. Мало-помалу его общество начало доставлять ей

упоительную радость. Они беседовали, вместе читали, пели дуэты. Пел и играл он превосходно, а читал с тем чувством и выразительностью, каких, к сожалению, недоставало Эдварду.

Миссис Дэшвуд восторгалась им не менее, чем Марианна. Да и Элинор могла поставить ему в упрек лишь склонность – которая была свойственна и Марианне, а потому особенно ее в нем восхищала, – склонность при любом случае высказывать собственные мысли, не считаясь ни с кем и ни с чем. Привычка скоропалительно составлять и объявлять во всеуслышание свое мнение о других людях, приносить в жертву требования вежливости капризам сердца, завладевать всем желанным ему вниманием и высокомерно пренебрегать общепринятыми правилами поведения обнаруживала легкомысленную беспечность, которую Элинор одобрить не могла, как бы и он сам, и Марианна ее ни оправдывали.

Марианна все более убеждалась, что, в шестнадцать с половиной лет навеки отчаявшись встретить свой идеал, она несколько поторопилась. Уиллоби воплощал все качества, которые в тот черный час, как и в другие, более светлые, представлялись ей в мечтах обязательными для ее будущего избранника. Вел же себя он так, что в серьезности его намерений сомневаться должно было не более, чем в его совершенствах.

И миссис Дэшвуд еще до истечения первой недели уже с надеждой и нетерпением ждала их свадьбы, хотя мысль о предполагаемом богатстве молодого человека в ее соображениях никакой роли не играла, и втайне поздравляла себя с двумя такими зятьями, как Эдвард и Уиллоби.

Друзья полковника Брэндона, столь быстро обнаружившие, что он пленился Марианной, забыли о своем открытии как раз тогда, когда Элинор начала по некоторым признакам подмечать, что это наконец действительно произошло. Их внимание и остроумие отвлек его более счастливый соперник, и шуточки, сыпавшиеся на полковника, пока он еще не был покорен, прекратились как раз тогда, когда его чувства начали оправдывать насмешки, какие весьма заслуженно навлекает сердечный жар. Элинор вынуждена была против воли поверить, что он на самом деле питает к ее сестре склонность, которую миссис Дженнингс приписывала ему для собственного развлечения, и что как бы близость вкусов ни воспламеняла мистера Уиллоби, столь же поразительное несходство их характеров отнюдь не стало помехой для полковника Брэндона. Это ее удручало: на что могли рассчитывать молчаливые тридцать пять лет

против полных огня двадцати пяти? Пожелать ему успеха она не могла и потому желала для него равнодушия. Он ей нравился – молчаливая сдержанность придавала ему интерес в ее глазах. Серьезность его не была суровой, сдержанность же казалась следствием каких-то душевных невзгод, а не природной угрюмости нрава. Намеки сэра Джона на прошлые горести и разочарования подтверждали ее заключение, что он несчастен, и внушали ей уважение и сострадание к нему.

Быть может, она уважала и жалела его даже больше из-за пренебрежения Уиллоби и Марианны, которые словно не могли извинить ему, что он не молод и не весел, и, казалось, нарочно искали случая сказать что-нибудь уничижительное по его адресу.

– Брэндон принадлежит к тем людям, – объявил однажды Уиллоби, когда речь зашла о полковнике, – о ком все отзываются хорошо, но чьего общества не ищут, кого все счастливы видеть, но с кем забывают затем обменяться даже двумя-тремя словами.

– Как раз таким он представляется и мне! – воскликнула Марианна.

– Но чем тут гордиться? – заметила Элинор. – Вы оба несправедливы. В Бартон-парке все глубоко его уважают, и я всегда бываю рада случаю побеседовать с ним.

– Ваша к нему снисходительность, – ответил Уиллоби, – бесспорно, свидетельствует в его пользу. Но что до уважения тех, на кого вы сослались, чести ему оно не делает. Кто предпочтет уничижительное одобрение женщин вроде леди Мидлтон и миссис Дженнингс безразличию остального общества?

– Но, быть может, брань людей, подобных вам и Марианне, искупает доброе мнение леди Мидлтон и ее матери? Если их похвалы – хула, то ваша хула не равна ли похвалам? Пусть они неразборчивы, но вы не менее предубеждены и несправедливы.

– Защищая своего протеже, вы даже способны на колкости!

– Мой протеже, как вы его назвали, умный человек, а ум я всегда ценю. Да-да, Марианна, даже в тех, кому уже за тридцать. Он повидал свет, бывал за

границей, много читал и умеет думать. Я убедилась, что могу почерпнуть у него много разных интересных мне сведений, и он всегда отвечал на мои вопросы любезно и с удовольствием.

– Ну, разумеется! – презрительно перебила Марианна. – Он поведал тебе, что в Индии очень жарко и там много москитов.

– Не сомневаюсь, что поведал бы, если бы я его об этом спросила, но это я и так уже знаю.

– Пожалуй, – вставил Уиллоби, – с его наблюдательностью он заметил еще существование набобов, безоаровых козлов и паланкинов.

– Осмелюсь предположить, что его наблюдательность много тоньше, чем ваши шпильки по его адресу. Но почему вы питаете к нему такую неприязнь?

– Вовсе нет! Напротив, я считаю его весьма почтенным человеком, которого всякий готов хвалить и никто не замечает, у которого столько денег, что он не знает, на что их тратить, и столько досуга, что ему нечем занять время, и еще по два новых костюма каждый год.

– Добавьте к этому, – вскричала Марианна, – что у него нет ни талантов, ни вкуса, ни смелости духа. Что ум его лишен остроты, его чувства – пылкости, а голос – хотя бы малейшего выражения!

– Вы приписываете ему такое множество недостатков, – возразила Элинора, – опираясь главным образом на собственное воображение, что мои похвалы кажутся в сравнении холодными и малозначащими. Я ведь могу только утверждать, что он умный, благовоспитанный, образованный человек с приятными манерами и, мне кажется, добрым сердцем.

– Мисс Дэшвуд! – вскричал Уиллоби. – Вы поступаете со мной жестоко! Вы пытаетесь обезоружить меня доводами рассудка и насильно меня переубедить. Но своей цели вам не достичь! Вашему искусству вести спор я могу противопоставить равное ему упрямство. У меня есть три самые веские причины недолюбливать полковника Брэндона: он пригрозил мне дождем, когда я надеялся на ясную погоду, он выбрал спицы моего кабриолета, и мне не удастся продать ему мою гнедую кобылу. Однако, если вам доставит

удовольствие услышать, что во всех остальных отношениях я считаю его репутацию безупречной, то я готов тотчас это признать. А вы за такую уступку, которая для меня не столь уж легка, должны оставить мне право недолго любить его точно так же, как прежде.

Глава 11

Миссис Дэшвуд и ее дочерям, когда они переехали в Девоншир, даже в голову не приходило, что их уединенной жизни так скоро придет конец и постоянные приглашения, постоянные гости почти не оставят им времени для серьезных занятий. Но произошло именно это. Когда Марианна поправилась, сэр Джон принялся приводить в исполнение задуманный им план развлечений дома и на свежем воздухе. В Бартон-парке один танцевальный вечер сменялся другим, и едва стихал октябрьский дождь, как устраивались катания на лодках. Уиллоби был неизменным участником этих увеселений, и сопутствующая им свобода от стеснительных церемоний как нельзя более способствовала его дальнейшему сближению с Дэшвудами, позволяла ему находить в Марианне все новые совершенства и выражать свое живейшее восхищение, а в ее словах и поступках обнаруживать знаки расположения к себе.

Их взаимная склонность не могла удивить Элинор, хотя она от души желала, чтобы они не показывали ее столь откровенно, и два раза попыталась убедить Марианну, что некоторая сдержанность была бы приличнее. Но Марианна не терпела скрытности, если могла быть повинна лишь в искренности: подавлять чувства, которые не таили в себе ничего непохвального, значило бы не только обрекать себя на лишние усилия, но и постыдно уступить пошлым и ошибочным понятиям. Уиллоби разделял ее мысли, а их поведение всегда было наглядным доказательством тех убеждений, которым они следовали.

В его присутствии она никого другого не видела. Все, что он делал, было правильно. Все, что он говорил, было умно. Если вечер в Бартон-парке завершался картами, он передергивал в ущерб себе и всем остальным, лишь бы она выиграла; если развлечением служили танцы, то половину их он был ее кавалером, а остальное время они умудрялись стоять рядом и разговаривали только между собой. Разумеется, подобное поведение вызывало всеобщий смех, но даже это не принудило их его переменить. Они, казалось, ничего не

замечали.

Миссис Дэшвуд так симпатизировала им, что ей и в голову не приходило несколько умерить столь безудержное выражение их чувства. Она видела в этом естественное следствие пылкости юных душ.

Для Марианны настала пора счастья. Сердце ее принадлежало Уиллоби, и его присутствие одарило их новый дом таким очарованием, что нежная привязанность к Норленду, которую она привезла из Сассекса, совсем изгладилась из ее памяти, каким бы невероятным это ни представлялось ей прежде.

Элинора столь безоблачного счастья не испытывала. На сердце у нее было не так легко и беззаботно, а развлечения не приносили ей такой радости. Заменить ей то, что осталось в прошлом, они не могли, как не могли и смягчить грусть разлуки с Норлендом. Ни в леди Мидлтон, ни в миссис Дженнингс она не обрела собеседниц, способных заинтересовать ее, хотя вторая не умолкала ни на минуту и с самого начала одарила Элинора своим расположением, а потому обращалась преимущественно к ней. Элинора выслушала историю ее жизни уже три или четыре раза, и будь она способна запомнить каждое дополнение и изменение, то еще в самом начале их знакомства уже наизусть знала бы все подробности последней болезни мистера Дженнингса, а также слова, с которыми он обратился к жене за несколько минут до того, как скончался. Леди Мидлтон была предпочтительнее своей матушки только потому, что подобной словоохотливостью не отличалась. Элинора не потребовалось особой наблюдательности, чтобы убедиться, что такая сдержанность была только следствием вялости натуры, а не свидетельством ума. С мужем и матерью она вела себя точно так же, как с гостями, а потому дружеской близости с ней не приходилось ни искать, ни желать. Нынче она могла лишь повторить то, что говорила вчера. И каждое ее слово наводило скуку, потому что даже настроения у нее не менялись. Хотя она не возражала против вечеров, которые устраивал ее муж – при условии, что правила хорошего тона будут свято соблюдаться, а она оставит при себе двоих старших сыновей, но никакой радости такие вечера ей, казалось, не доставляли, и с не меньшим удовольствием она могла бы проводить это время у себя наверху. К беседе она добавляла так мало, что гости порой вспоминали о ее присутствии, только когда она начинала нежно унимать своих проказливых сынков.

Из всех их новых знакомых Элино́р лишь в полковнике Брэ́ндоне нашла человека, не обойденного талантами, способного вызвать дружеский интерес и быть занимательным собеседником. Об Уиллоби говорить не приходилось. Он внушал ей восхищение и теплые, даже сестринские чувства, но он был влюблен, все свое внимание отдавал Марианне, а для остальных от его присутствия толку было меньше, чем от далеко не таких приятных людей. Но полковнику Брэ́ндону, на его беду, не предоставлялось случая посвящать все мысли одной Марианне, и в разговорах с Элино́р он находил некоторое утешение от полного безразличия ее сестры.

Сочувствие Элино́р к нему возросло еще больше, когда у нее появились причины подозревать, что ему уже довелось испытать все муки несчастной любви. Подозрение это породили случайно оброненные слова, когда на вечере в Бартон-парке они по взаимному согласию предпочли пропустить свой танец. Несколько минут полковник не спускал глаз с Марианны, а потом прервал молчание, сказав с легкой улыбкой:

– Ваша сестра, насколько я понимаю, не одобряет вторые привязанности.

– Да, – ответила Элино́р. – Она ведь очень романтична.

– Вернее, если не ошибаюсь, она просто не верит, что они возможны.

– Пожалуй. Но как ей удастся согласить подобное убеждение с тем, что ее собственный отец был женат дважды, я, право, объяснить не берусь. Впрочем, года через два-три в своих приговорах она, несомненно, будет опираться на здравый смысл и наблюдения. И тогда они станут ясны и оправданны не только для нее самой, но и для других.

– Вероятно, так и произойдет, – сказал полковник. – И все же в предубеждениях юного ума есть особая прелесть, и невольно сожалеешь, когда они уступают место мнениям более общепринятым.

– В этом я согласиться с вами не могу, – возразила Элино́р. – Чувства, подобные чувствам Марианны, чреватые известной опасностью, и никакие чары искренности и наивной неопытности искупить этого не могут. Всем ее убеждениям присуще злосчастное пренебрежение правилами приличия, и лучшее знакомство со светом, как я ожидаю, принесет ей только пользу.

После короткого молчания полковник вернулся к теме их разговора, спросив:

– В своем осуждении второй привязанности ваша сестра не признает никаких смягчающих обстоятельств? В ее глазах она равно преступна для всех? И те, кто был разочарован в своем первом выборе, из-за непостоянства ли предмета своей привязанности, или из-за каприза судьбы, обязаны равно хранить безразличие до конца своих дней?

– Все тонкости ее принципов мне, по чести говоря, неизвестны. Знаю лишь, что ни разу не слышала, чтобы она признала хотя бы один случай второй привязанности извинительным.

– Пребывать в таком убеждении, – заметил он, – долго нельзя. Однако перемена, полная перемена мнений... Нет, нет, не желайте этого! Ведь когда юный ум бывает вынужден поступиться романтическими понятиями, как часто на смену им приходят мнения и слишком распространенные и слишком опасные! Я сужу по опыту. Когда-то я был знаком с барышней, которая и натурой и складом ума очень походила на вашу сестру и мыслила и судила о вещах подобно ей, но затем из-за насильственной перемены... из-за злосчастного стечения обстоятельств... – Тут он внезапно оборвал свою речь, по-видимому, решив, что наговорил лишнего. Это-то и пробудило у мисс Дэшвуд подозрения, которые иначе, вероятно, у нее не зародились бы. Элинор скорее всего оставила бы его слова без внимания, если бы не заметила, как он сожалеет, что они сорвались с его губ. И уж тут не требовалось особой проницательности, чтобы усмотреть в его волнении намек на грустные воспоминания о былом. Элинор дальше этого заключения не пошла, хотя Марианна на ее месте не удовольствовалась бы такой малостью. Пылкое воображение тут же нарисовало бы ей всю печальнейшую череду событий повести о трагической любви.

Глава 12

На следующее утро во время их прогулки Марианна сообщила сестре новость, которая, несмотря на все, что Элинор знала о безоглядной порывистости и опрометчивости Марианны, поразила ее как совсем уж неожиданное подтверждение того и другого. Сестра с величайшим восторгом поведала ей,

что Уиллоби подарил ей лошадь, которую сам вырастил в своем сомерсетширском поместье и которая словно нарочно объезжена под дамское седло! Ни на мгновение не задумавшись о том, что держать лошадей их мать не собиралась и что, если из-за такого подарка она вынуждена будет переменить свое намерение, ей придется купить лошадь для лакея, и нанять лакея, который ездил бы на второй лошади, и, вопреки всем прежним планам, построить конюшню для этих двух лошадей, Марианна приняла такой подарок без малейших колебаний и рассказала о нем сестре с восхищением.

– Он сейчас же пошлет за ней своего грума в Сомерсетшир, – добавила она. – И тогда мы с ним будем кататься верхом каждый день. Разумеется, она будет и в твоём распоряжении, Элино́р. Нет, ты только представь себе, какое наслаждение – скакать галопом по этим холмам!

Она никак не хотела пробудиться от блаженных грез и признать неприятные истины, сопряженные с осуществлением подобной затеи. Первоначально она наотрез отказалась с ними смириться. Еще один слуга? Но расход такой пустячный! И мама, несомненно, ничего против иметь не будет. А для лакея подойдет любая кляча. К тому же и покупать ее не обязательно: всегда ведь можно брать для него лошадь в Бартон-парке. А что до конюшни, достаточно будет самого простого сарая. Тогда Элино́р осмелилась выразить сомнение, прилично ли ей принимать подобный подарок от человека, с которым она так мало... во всяком случае... так недолго знакома.

– Ты напрасно думаешь, Элино́р, – горячо возразила Марианна, – будто я мало знакома с Уиллоби. Да, бесспорно, узнала я его недавно. Но в мире нет никого, кроме тебя и мамы, кого я знала бы так хорошо! Не время и не случай создают близость между людьми, но лишь общность наклонностей. Иным людям и семи лет не хватит, чтобы хоть сколько-нибудь понять друг друга, иным же и семи дней более чем достаточно. Я сочла бы себя виновной в куда худшем нарушении приличий, если бы приняла в подарок лошадь от родного брата, а не от Уиллоби. Джона я почти не знаю, хотя мы жили рядом много лет, суждение же об Уиллоби я составила давным-давно!

Элино́р почла за благо оставить эту тему. Она знала характер своей сестры. Возражения в столь деликатном вопросе только утвердили бы ее в собственном мнении. Но обращение к ее дочерней привязанности, перечисление всех забот, которые их снисходительная мать навлечет на себя, если – как вполне вероятно – даст согласие на такое добавление к их домашнему устройству, вскоре

заставили Марианну отступить, и она обещала ничего не говорить матери (которая по доброте сердца, наверное, не прислушалась бы к голосу благоразумия) о предложенном подарке и при первом же случае сказать Уиллоби, что она не может его принять.

Слово свое она сдержала, и, когда в тот же день Уиллоби пришел с визитом, Элинор услышала, как ее сестра вполголоса сообщила ему, что должна отказаться от его любезного предложения. Затем она объяснила причины такой перемены в своих намерениях, лишив его возможности настаивать и упрашивать. Однако он не скрыл, как разочарован, и, выразив свое огорчение, добавил столь же тихо:

– Но, Марианна, лошадь по-прежнему принадлежит вам, пусть пока вы и не можете на ней ездить. Я оставляю ее у себя только до тех пор, пока вы ее не потребуете. Когда вы покинете Бартон и заживете собственным домом, Королева Мэб будет вас ждать.

Вот что услышала мисс Дэшвуд. И эти слова, и тон, каким они были произнесены, и его обращение к Марианне по имени без обычного «мисс» – все было настолько недвусмысленным и говорило о такой короткости между ними, что она могла дать ей только одно истолкование. И с этой минуты Элинор уже не сомневалась, что они помолвлены. Подобное открытие ее несколько не удивило, хотя она и недоумевала, почему натуры столь откровенные предоставили случаю открыть это как ей, так и остальным их друзьям.

На следующий день она услышала от Маргарет новое подтверждение своему заключению. Уиллоби накануне провел у них весь вечер, и Маргарет некоторое время оставалась с ними в гостиной одна, и вот тогда-то она и увидела кое-что, о чем торжественно поведала утром старшей сестре.

– Ах, Элинор! – воскликнула она. – Я тебе расскажу про Марианну такой секрет! Я знаю, она очень скоро выйдет замуж за мистера Уиллоби!

– Ты это говорила, – заметила Элинор, – чуть ли не каждый день с тех пор, как они познакомились на Церковном холме. И по-моему, они и недели знакомы не были, как ты возвестила, что Марианна носит на шее медальон с его портретом. Правда, портрет оказался миниатюрой нашего двоюродного деда.

- Но теперь совсем другое дело! Конечно, они поженятся очень скоро: ведь у него есть ее локон!

- Поберегись, Маргарет! А вдруг это локон его двоюродного дедушки?

- Да нет, Элино́р! Вовсе не дедушки, а Марианны. Ну как я могу ошибиться? Я же своими глазами видела, как он его отрезал. Вчера вечером, после чая, когда вы с мамой вышли, они начали шептаться, ужасно быстро, и он как будто ее упрасивал. А потом взял ее ножницы и отстриг длинную прядь - у нее ведь волосы были распущены по плечам. А потом поцеловал прядь, завернул в белый листок и спрятал в бумажник.

Такие подробности, перечисленные с такой уверенностью, не могли не убедить Элино́р; к тому же они лишь подтверждали все, что видела и слышала она сама.

Но в других случаях пронизательность Маргарет досаждала старшей сестре куда больше. Когда миссис Дженнингс как-то вечером в Бартон-парке принялась требовать, чтобы она назвала молодого человека, который пользуется особым расположением Элино́р - миссис Дженнингс уже давно умирала от желания выведать это, - Маргарет поглядела на сестру и ответила:

- Я ведь не должна его называть, правда, Элино́р?

Разумеется, раздался общий смех, и Элино́р постаралась к нему присоединиться. Но удалось ей это с трудом. Она не сомневалась, кого имеет в виду Маргарет, и чувствовала, что не вынесет, если его имя послужит пищей для назойливых шуточек миссис Дженнингс.

Марианна сострадала ей всем сердцем, но только ухудшила положение, когда, вся красная, сказала Маргарет сердито:

- Не забудь, что всякие догадки высказывать вслух непозволительно!

- Да какие же догадки! - ответила Маргарет. - Ты ведь мне сама сказала!

Общество совсем развеселилось, и Маргарет подверглась настойчивому допросу.

– Ах, мисс Маргарет! Ну расскажите же нам все! – не отступала миссис Дженнингс. – Назовите имя этого счастливого!

– Я не должна, сударыня. Но я очень хорошо знаю его имя. И знаю, где он живет.

– Да-да! Где он живет, мы догадываемся. В собственном доме в Норленде, конечно. Я полагаю, он младший приходский священник.

– Вот уж нет! Он еще ничем не занимается.

– Маргарет! – горячо вмешалась Марианна. – Вспомни же, что это все твои выдумки и такого человека вообще не существует.

– Ну, так, значит, он безвременно скончался, Марианна! Я же знаю, что прежде он существовал, и фамилия его начинается на «эф».

В эту минуту леди Мидлтон громко высказала мнение, что «погода стоит очень дождливая», и Элиноর испытала к ней глубокую благодарность, хотя прекрасно понимала, что ее милость вмешалась не ради нее, но потому лишь, что терпеть не могла несветские поддразнивания, которыми так обожали развлекаться ее супруг и матушка. Однако полковник Брэндон, всегда деликатный с чувствами других людей, не замедлил вступить в обсуждение погоды.

Затем Уиллоби открыл крышку фортепьяно и попросил Марианну сыграть. Эти старания разных людей переменить разговор увенчались успехом, и неприятная тема была оставлена. Однако Элинор не так легко оправилась от тревоги, которую она в ней пробудила.

В тот же вечер общество уговорилось на следующий день отправиться осмотреть великолепное имение в двенадцати милях от Бартон, принадлежащее родственнику полковника Брэндона, и полковник должен был открыть им доступ туда, ибо владелец находился за границей и отдал строжайшее распоряжение не допускать в дом посторонних. Тамошные сады славились красотой, и сэр Джон, рассыпавшийся в похвалах им, мог считаться надежным судьей, ибо он уже десять лет как возил своих гостей осматривать их по меньшей мере дважды в одно лето. В парке было обширное озеро, утро можно будет занять прогулкой на лодках. Они возьмут холодную провизию, отправятся в открытых экипажах, и все будет сделано, чтобы пикник удался на

славу.

Кое-кто из присутствующих счел этот план несколько смелым для такого времени года, тем более что последние две недели не выпало даже дня без дождя, и Элино́р уговори́ла миссис Дэшвуд, которая уже немного простудилась, остаться дома.

Глава 13

Их предполагаемая поездка в Уайтвелл обманула все ожидания Элино́р. Она приготовилась вымокнуть, утомиться, пережить бесчисленные страхи, но дело обернулось даже еще хуже: они вообще никуда не поехали.

К десяти часам компания собралась в Бартон-парке, где им предстояло позавтракать. До рассвета шел дождь, но утро сулило некоторую надежду, потому что тучи рассеивались и довольно часто из них выглядывало солнце. Все пребывали в веселом расположении духа и были полны решимости вопреки тяготам и неприятным неожиданностям сохранять бодрость.

Они еще сидели за столом, когда принесли почту. Среди писем одно было адресовано полковнику Брэндону. Он взял конверт, взглянул на надпись на нем, переменялся в лице и тотчас вышел из столовой.

– Что с Брэндонем? – спросил сэ́р Джон.

Ответить никто ничего не мог.

– Надеюсь, он не получил дурных известий, – сказала леди Мидлтон. – Если полковник Брэндон встал из-за стола, даже не извинившись передо мной, значит, случилось что-то из ряда вон выходящее.

Минут через пять полковник вернулся.

– Надеюсь, вы не получили дурных вестей, полковник? – тотчас осведомилась миссис Дженнингс.

- Отнюдь нет, сударыня. Благодарю вас.
- Вам пишут из Авиньона? Надеюсь, вашей сестрице не стало хуже?
- Нет, сударыня. Оно из Лондона. Обычное деловое письмо.
- Так почему же оно вас взволновало, если оно деловое и обычное? Ни-ни, полковник, вы нас не обманете! Придется вам во всем признаться.
- Право, сударыня! - вмешалась леди Мидлтон. - Подумайте, что вы такое говорите!
- Или вас извещают, что ваша кузина Фанни сочеталась браком? - продолжала миссис Дженнингс, пропуская упрек дочери мимо ушей.
- Нет, ничего подобного.
- Ну, так мне известно, от кого оно, полковник. И надеюсь, она в добром здравии.
- О ком вы говорите, сударыня? - сказал он, слегка краснея.
- А! Вы прекрасно знаете о ком.
- Я крайне сожалею, сударыня, - сказал полковник, обращаясь к леди Мидлтон, - что получил это письмо именно сегодня, так как оно связано с делом, которое требует моего немедленного присутствия в Лондоне.
- В Лондоне! - воскликнула миссис Дженнингс. - Но что вам делать там в такую пору?
- Мне чрезвычайно грустно отказываться от столь приятной поездки, - продолжал он. - Тем более что, боюсь, без меня вас в Уайтвелл не впустят.

Какой удар для них всех!

– Но если бы вы написали записку экономке, мистер Брэндон? – огорченно спросила Марианна. – Неужели этого будет недостаточно?

Он покачал головой.

– Но как же так, вдруг не поехать, когда все готово? – воскликнул сэр Джон. – Вы отправитесь в Лондон завтра, Брэндон, и не спорьте!

– Будь это возможно! Но не в моей власти задержаться даже на день.

– Если бы вы по крайней мере объяснили нам, что это за дело, – заявила миссис Дженнингс, – мы могли бы решить, можно его отложить или никак нельзя.

– Но вы задержитесь только на шесть часов, – заметил Уиллоби, – если отложите отъезд до нашего возвращения.

– Я не могу позволить себе потерять хотя бы час...

Элинор услышала, как Уиллоби сказал Марианне вполголоса:

– Есть люди, которые не терпят пикников, и Брэндон принадлежит к ним. Попросту он испугался схватить простуду и придумал эту историю, чтобы не ездить. Готов поставить пятьдесят гиней, что письмо он написал сам.

– Нисколько в этом не сомневаюсь, – ответила Марианна.

– Ну, мне давно известно, Брэндон, – сказал сэр Джон, – что вас, если уж вы приняли решение, не переубедить! Однако подумайте! Мисс Кэри с сестрицей приехала из Ньютона, три мисс Дэшвуд прошли пешком всю дорогу от коттеджа, а мистер Уиллоби встал на два часа раньше обычного – и все ради пикника в Уайтвелле.

Полковник Брэндон вновь выразил глубокое сожаление, что стал причиной столь неприятного разочарования, но иного выбора у него, к несчастью, нет.

– Ну, а когда же вы вернетесь?

– Надеюсь, как только ваши дела в Лондоне будут окончены, мы снова увидим вас в Бартоне, – добавила ее милость. – И поездку в Уайтвелл отложим до вашего возвращения.

– Вы очень любезны. Но пока совершенно неизвестно, когда я сумею вернуться, и я не смею что-либо обещать.

– А! Он должен вернуться и вернется! – вскричал сэр Джон. – Я подожду неделю, а потом сам за ним отправлюсь!

– Непременно, сэр Джон, непременно! – подхватила миссис Дженнингс. – И может быть, вы тогда узнаете, что он от нас утаивает.

– Ну, я не охотник совать нос в чужие дела. И кажется, это что-то такое, в чем ему неловко открыться.

Лакей доложил, что лошади полковника Брэндона поданы.

– Вы ведь не верхом отправитесь в Лондон? – осведомился сэр Джон, оставляя прежнюю тему.

– Нет. Только до Хонитона. А оттуда на почтовых.

– Ну, раз уж вы положили уехать, желаю вам счастливого пути. А может, все-таки передумаете, а?

– Уверяю вас, это не в моей власти.

И полковник начал прощаться.

– Есть ли надежда, мисс Дэшвуд, увидеть зимой вас и ваших сестер в столице?

– Боюсь, что ни малейшей.

– В таком случае я вынужден проститься с вами на больший срок, чем мне хотелось бы.

Марианне он лишь молча поклонился.

– Ах, полковник! – сказала миссис Дженнингс. – Уж теперь-то вы можете сказать, зачем вы уезжаете!

В ответ он пожелал ей доброго утра и в сопровождении сэра Джона вышел из комнаты.

Теперь, когда вежливость уже не замыкала уста, сожаления и негодующие возгласы посыпались со всех сторон. Все вновь и вновь соглашались в том, как досадно, как непереносимо подобное разочарование.

– А я догадываюсь, какое это дело! – вдруг торжествующе объявила миссис Дженнингс.

– Какое же, сударыня? – хором спросили все.

– Что-нибудь с мисс Уильямс, ручаюсь вам.

– Но кто такая мисс Уильямс? – спросила Марианна.

– Как! Вы не знаете? Нет-нет, что-то о мисс Уильямс вы, конечно, слышали! Она родственница полковника, душенька. И близкая. Такая близкая, что юным барышням и знать не следует. – Чуть понизив голос, она тут же сообщила Элиноর: – Это его незаконная дочь!

– Неужели!

– Да-да. И сущий его портрет. Помяните мое слово, полковник завещает ей все свое состояние.

Вернувшийся в столовую сэр Джон немедля присоединился к общим сетованиям, но в заключение сказал, что раз уж они собрались, то им следует придумать, как провести время наиболее приятным образом. После недолгого совещания все согласились, что, хотя счастье они могли обрести лишь в Уайтвелле, тем не менее прогулка в экипажах по окрестностям может послужить некоторым утешением. Приказали подать экипажи. Первым подъехал кабриолет Уиллоби, и

никогда еще Марианна не сияла таким счастьем, как в ту минуту, когда впорхнула на сиденье. Уиллоби хлестнул лошадей, они скрылись среди деревьев парка, и общество снова увидело их, только когда они возвратились в Бартон-парк, причем много позднее остальных. Оба были в самом радостном расположении духа, однако объяснили лишь несколько неопределенно, что кружили по проселкам, а не отправились в холмы, как прочие.

Затем уговорились вечером потанцевать, а день провести как можно веселее. К обеду подъехали другие члены семейства Кэри, и сэр Джон с большим удовольствием заметил, что за стол село без малого двадцать человек. Уиллоби занял свое обычное место между двумя старшими мисс Дэшвуд, миссис Дженнингс села справа от Элинора, и еще не подали первого блюда, как она, наклонившись к Марианне за спиной Элинора и Уиллоби, сказала достаточно громко, чтобы услышали и они:

– А я все узнала, несмотря на ваши хитрости! Мне известно, где вы провели утро.

Марианна порозовела и быстро спросила:

– Так где же?

– А разве вы не знали, – вмешался Уиллоби, – что мы катались в моем кабриолете?

– Как не знать, шалопай вы эдакий! Вот потому-то я и потрудились справиться, где вы катались... Надеюсь, мисс Марианна, ваш дом вам нравится. Он очень обширен, как мне хорошо известно, но я полагаю, к моему первому визиту вы его обставите заново. Когда в последний раз я была там шесть лет назад, он очень в этом нуждался.

Марианна отвернулась в большом смущении. Миссис Дженнингс принялась смеяться, и Элинора пришлось выслушать, как она, в решимости докопаться до истины, не более и не менее как подослала свою горничную к груму мистера Уиллоби и таким образом установила, что они ездили в Алленем и провели там долгое время, гуляя по саду и осматривая дом.

Элинора ушам своим не верила. Она не могла даже вообразить, чтобы Уиллоби пригласил Марианну, а она согласилась войти в дом миссис Смит, с которой

была совершенно незнакома.

Едва они покинули столовую, как Элино́р спросила об этом Марианну, и, к величайшему ее изумлению, оказалось, что миссис Дженнингс нигде не погрешила против истины. Марианна даже рассердилась на нее за подобные сомнения.

– Почему ты думаешь, Элино́р, что мы не могли поехать туда и осмотреть дом? Ведь ты же сама не раз выражала такое желание!

– Да, Марианна. Но я не переступила бы его порога без ведома миссис Смит и в обществе одного лишь мистера Уиллоби.

– Но мистер Уиллоби – единственный человек, имеющий право показывать этот дом, а раз мы ехали в кабриолете, никого третьего с нами быть не могло. Такого приятного утра я еще никогда не проводила!

– Боюсь, – сказала Элино́р, – приятность еще не залог приличия.

– Напротив, Элино́р, более верного залога и найти нельзя. Преступи я истинные требования приличия, то все время чувствовала бы это: ведь, поступая дурно, мы всегда это сознаем, и в таком случае вся приятность была бы для меня испорчена.

– Но, милая Марианна, теперь, когда тебе пришлось выслушать нестерпимо бесцеремонные намеки, неужели ты не убедилась в неосмотрительности своего поведения?

– Если считать бесцеремонные намеки миссис Дженнингс доказательством нарушения приличий, все мы только и делаем, что нарушаем их каждый миг нашей жизни. Ее осуждение трогает меня не более ее похвал. Я не вижу ничего дурного в том, что гуляла в саду миссис Смит и осмотрела ее дом. Со временем они будут принадлежать мистеру Уиллоби и...

– Даже если бы со временем им предстояло принадлежать тебе, Марианна, твоему поступку оправдания нет.

При последних словах Марианна покраснела, но тем не менее нетрудно было заметить, что это был скорее румянец удовольствия. Поразмыслив минут десять, она подошла к сестре и с большим оживлением сказала:

– Пожалуй, Элинора, мне действительно не следовало ездить в Алленем, но мистер Уиллоби непременно хотел показать мне усадьбу. И дом прекрасен, поверь мне. На втором этаже есть очаровательная гостиная, как раз такой величины, какая особенно удобна для постоянного пользования. И будь она хорошо обставлена, ничего прелестнее и представить себе было бы невозможно. Угловая комната, окна выходят на две стороны. За одними лужайка для игры в шары простирается до роши на крутом склоне, за другими виднеются церковь, деревня и высокие холмы вдали – те самые, которые столько раз возбуждали наше восхищение. Правда, вид ее меня огорчил: более убогой мебели вообразить нельзя, но если ее отделать заново... Уиллоби говорит, что двухсот фунтов будет достаточно, чтобы превратить ее в одну из самых очаровательных летних гостиных в Англии.

Если бы им не мешали другие, Элинора пришлось бы выслушать столь же восторженное описание всех парадных комнат в Алленеме.

Глава 14

Внезапный отъезд полковника Брэндона и его упорное желание скрыть причину занимали миссис Дженнингс еще два-три дня, и она продолжала строить всевозможные предположения, на что была большая мастерица, как все те, кого живо интересует, что, зачем и почему делают их знакомые. Она без конца прикидывала, какое этому может быть объяснение, не сомневалась, что известие он получил дурное, и перебирала всевозможные беды, которые только могли его постигнуть, в твердой решимости не оставить ему никакого избавления хотя бы от двух-трех.

– Разумеется, случилось что-то очень печальное, – рассуждала она. – Я по его лицу прочитала. Бедняжка! Боюсь, он находится в весьма стесненном положении. Поместье в Делафорде, говорят, никогда не приносило дохода более двух тысяч, а его брат оставил дела в очень расстроенном состоянии. Право же, за ним послали по поводу денежных затруднений. Как же иначе? Но так ли это?

Я бы все на свете отдала, лишь бы узнать правду. Или все-таки мисс Уильямс? Да, пожалуй, недаром он так смутился, когда я о ней осведомилась. Не лежит ли она в Лондоне больная? Скорее всего так, ведь, как я слышала, она никогда не была крепкого здоровья. Бьюсь об заклад, с мисс Уильямс что-то неладно. Навряд ли у него могли сейчас случиться денежные неприятности, потому что он хороший хозяин и, наверное, уже освободил поместье от долгов. Нет, все-таки что же это может быть? Или его сестре в Авиньоне стало хуже и она послала за ним? Потому-то он так и торопился! Ну, да я от души желаю ему благополучного конца всем его тревогам и хорошую жену в придачу.

Так размышляла, так рассуждала миссис Дженнингс, меняя заключения с каждым новым предположением, которые все представлялись ей одно другого правдоподобнее. Элинора, хотя она искренне принимала к сердцу благополучие полковника Брэндона, не ломала голову над его поспешным отъездом, как того хотелось бы миссис Дженнингс. Не только она полагала, что это обстоятельство не заслуживало ни столь длительного удивления, ни столь многочисленных догадок, но мысли ее поглощала совсем иная непонятная тайна. Она дивилась необъяснимому молчанию, которое ее сестра и Уиллоби хранили о том, что имело особую важность для остального общества, как им было хорошо известно. И с каждым днем молчание это становилось все более непостижимым и не совместимым с натурой обоих. Элинора не могла понять, почему они открыто не объявят миссис Дэшвуд и ей то, что, судя по их поведению друг с другом, несомненно, уже произошло.

Она вполне допускала, что со свадьбой придется повременить, так как полагать Уиллоби богатым, хотя он себе ни в чем не отказывал, особых причин не было. Его поместье, по расчетам сэра Джона, приносило в год фунтов семьсот – восемьсот, но жил он на более широкую ногу, чем позволял подобный доход, и часто жаловался на безденежье. Но странному покрову тайны, который они набрасывали на свою помолвку, хотя покров этот ничего не прятал, Элинора объяснения не находила. Подобная скрытность столь не гармонировала с их взглядом на вещи и обычным поведением, что порой ей в душу закрадывались сомнения, а дали ли они друг другу слово, и они мешали ей спросить Марианну прямо.

Поведение Уиллоби казалось лучшим свидетельством его к ним всем отношения. Марианну он окружал той нежностью, на какую только способно влюбленное сердце, а с ее матерью и сестрами держался как почтительный сын и ласковый брат. Казалось, коттедж стал для него вторым домом, и он проводил у них

гораздо больше часов, чем в Алленеме. И если только их всех не приглашали в Бартон-парк, его утренняя прогулка почти неизменно завершалась там, где весь остальной день он проводил с Марианной, а его любимая собака лежала у ее ног.

Как-то вечером, неделю спустя после отъезда полковника Брэндона, он, казалось, дал особую волю привязанности ко всему, что его окружало у них. Миссис Дэшвуд заговорила о своем намерении заняться весной перестройкой коттеджа, и он принялся с жаром возражать против каких-либо изменений дома, который его пристрастным глазам являл вид совершенства.

– Как! – восклицал он. – Перестроить милый коттедж! Нет. На это я своего согласия не дам. Если здесь хоть немного считаются с моими чувствами, к его стенам не добавится ни единого камня, а к его высоте – ни единого дюйма.

– Успокойтесь, – сказала мисс Дэшвуд. – Ничего подобного не произойдет. У мамы никогда не наберется денег на такую перестройку.

– От всего сердца рад этому! – вскричал он. – Да будет она всегда бедна, если для ее денег не найдется лучшего применения.

– Благодарю вас, Уиллоби. Но можете быть уверены, что никакие улучшения не соблазнят меня принести в жертву нежность, которую вы или другие, кого я люблю, могут питать к этим стенам. Поверьте, какая бы свободная сумма ни оказалась в моем распоряжении после весеннего сведения счетов, я лучше оставлю ее без употребления, чем потрачу на то, что причинит вам такие страдания! Но неужели этот домик вам серьезно так нравится, что вы не видите в нем никаких недостатков?

– О да! – ответил он. – В моих глазах он само совершенство. Более того, на мой взгляд, счастье возможно лишь в таком домике, и будь я достаточно богат, так немедля снес бы Комбе-Магна и построил его заново точно по плану вашего коттеджа.

– Вместе с темной узкой лестницей и дымящей плитой на кухне, я полагаю? – заметила Элинора.

– Непременно! – вскричал он с тем же жаром. – И с ними, и со всем, что в нем есть. Так, чтобы и по удобствам, и по неудобствам он ни на йоту не отличался от этого. Только тогда, только точно под таким же кровом я смогу быть счастливым в Комбе, как я был счастлив в Бартоне.

– Позволю себе предположить, – сказала Элинора, – что вопреки более просторным комнатам и более широкой лестнице вы все же обнаружите, что ваш собственный дом не уступает в совершенстве этому.

– Бесспорно, есть нечто, что может сделать его неизмеримо дороже для меня, – ответил Уиллоби, – но право вашего коттеджа на мою привязанность навсегда останется особым и несравненным.

Миссис Дэшвуд с радостью поглядела на Марианну, чьи прекрасные глаза были устремлены на Уиллоби с выражением, не оставлявшим ни малейшего сомнения, как хорошо она его понимает.

– Сколько раз, – продолжал он, – год тому назад, гостя в Алленеме, желал я, чтобы Бартонский коттедж перестал пустовать! Проходя или проезжая мимо, я всегда любовался его живописным местоположением и огорчался, что в нем никто не живет. Мне и в голову не приходило, что, не успею я приехать в следующем году, как тут же услышу от миссис Смит, что Бартонский коттедж сдан. Эта новость пробудила во мне такой интерес и такую радость, что их можно признать только предчувствием счастья, какое меня ждало. Не правда ли, Марианна? – добавил он, понижая голос, а затем продолжал прежним тоном: – И вот этот-то дом вы замыслили испортить, миссис Дэшвуд! Лишить его простоты ради воображаемых улучшений? Эту милую гостиную, где началось наше знакомство и где с тех пор мы провели столько счастливых часов, вы низведете до передней, и все будут равнодушно проходить через комнату, которая до сих пор была прелестней, уютней и удобней любых самых величественных апартаментов, какие только есть в мире!

Миссис Дэшвуд вновь заверила его, что о подобной перестройке больше и речи не будет.

– Вы так добросердечны! – ответил он с пылкостью. – Ваше обещание меня успокоило. Но добавьте к нему еще одно и сделайте меня счастливым. Заверьте меня, что не только ваш дом останется прежним, но и вы, и ваше семейство

никогда ко мне не переменитесь и всегда будете относиться ко мне с той добротой, которая делает для меня столь дорогим все с вами связанное.

Обещание было охотно дано, и до конца вечера Уиллоби вел себя так, что нельзя было сомневаться ни в его чувствах, ни в счастье, им владевшем.

– Вы у нас завтра обедаете? – спросила миссис Дэшвуд, когда он начал прощаться. – Утром я вас не зову, так как мы должны сделать визит леди Мидлтон.

Уиллоби обещал быть у них в четыре часа.

Глава 15

На следующий день миссис Дэшвуд отправилась к леди Мидлтон с двумя дочерьми: Марианна предпочла остаться дома под каким-то не слишком убедительным предлогом, и ее мать, не сомневаясь, что накануне Уиллоби обещал прийти, пока их не будет, настаивать не стала.

Вернувшись из Бартон-парка, они увидели перед коттеджем кабриолет Уиллоби и его слугу, и миссис Дэшвуд убедилась в верности своей догадки. Именно это она и предвидела. Но в доме ее ожидало нечто, о чем никакое предвидение ее не предупредило. Едва они вошли в коридор, как из гостиной в сильном волнении выбежала Марианна, прижимая платок к глазам. Она поднялась по лестнице, не заметив их. Полные недоумения и тревоги, они направились в комнату, которую она только что покинула, и увидели там только Уиллоби, который спиной к ним прислонялся к каминной полке. На их шаги он обернулся. Его лицо отражало те же чувства, которые возобладали над Марианной.

– Что с ней? – воскликнула миссис Дэшвуд. – Она заболела?

– О, надеюсь, что нет, – ответил он, стараясь придать себе веселый вид. И с вымученной улыбкой добавил: – Заболеть должен я, так как меня сразило неожиданное несчастье.

- Несчастье?

- Да. Я вынужден отказаться от вашего приглашения. Нынче утром миссис Смит прибегла к власти, какую богатство имеет над бедными, зависимыми родственниками, и дала мне неотложное поручение в Лондон. Я был отправлен в дорогу только что, простился с Алленом и, для утешения, заехал проститься с вами.

- В Лондон! И нынче утром?

- Теперь же.

- Как жаль! Но миссис Смит, разумеется, вы отказать не можете. И надеюсь, ее поручение разлучит нас с вами ненадолго.

Отвечая, он покраснел:

- Вы очень добры. Но вернуться в Девоншир немедленно мне не удастся. У миссис Смит я гощу не чаще раза в год.

- И кроме миссис Смит, у вас тут друзей нет? И кроме Алленема, вас нигде в здешних краях не примут? Стыдитесь, Уиллоби! Неужели вам нужно особое приглашение?

Он еще больше залился краской, потупился и сказал только:

- Вы очень добры...

Миссис Дэшвуд с недоумением поглядела на Элинора, которая была удивлена не менее. Несколько секунд царило молчание. Его прервала миссис Дэшвуд:

- Могу лишь добавить, милый Уиллоби, что в Bartonском коттедже вам всегда будут рады. Я не жду, что вы вернетесь сразу же, так как лишь вы один можете судить, как взглянула бы на это миссис Смит. Вашему суждению в этом я так же доверяю, как не сомневаюсь в том, чего хотели бы вы сами.

– Мои обязательства, – сбивчиво ответил Уиллоби, – таковы, что... что... боюсь... мне нельзя тешить себя надеждой...

Он умолк. От изумления миссис Дэшвуд не могла произнести ни слова, и наступило новое молчание. На этот раз первым заговорил Уиллоби.

– Мешкать всегда неразумно, – произнес он с легкой улыбкой. – Я не стану долее терзать себя, медля среди друзей, чьим обществом мне уже не дано наслаждаться.

Затем он торопливо простился с ними и вышел из гостиной. Они увидели, как он вскочил в кабриолет и минуту спустя скрылся за поворотом.

Миссис Дэшвуд не могла говорить и сразу же ушла к себе, чтобы в одиночестве предаться волнению и тревоге, которые вызвал этот неожиданный отъезд.

Элинора была встревожена несколько не меньше, если не больше. Она перебирала в памяти их разговор с недоумением и беспокойством. Поведение Уиллоби, когда он прощался с ними, его смущение, притворная шутливость и, главное, то, что приглашение ее матери он выслушал без малейшей радости, с неохотностью, противоестественной во влюбленном, неестественной в нем, – все это вызвало у нее глубокие опасения. То она начинала бояться, что у него никогда не было серьезных намерений, то приходила к мысли, что между ним и ее сестрой произошла бурная ссора. Тогда становилось понятно, почему Марианна выбежала из гостиной в подобном расстройстве, но, с другой стороны, любовь Марианны к нему была такова, что ссора между ними, даже пустяковая, представлялась вовсе невероятной.

Но каковы бы ни были обстоятельства их разлуки, горе ее сестры сомнений не оставляло, и Элинора с нежным состраданием представила себе неистовую печаль, которой Марианна предается, не только не ища в ней облегчения, но, наоборот, видя свой долг в том, чтобы всячески растравлять ее и усугублять.

Через полчаса миссис Дэшвуд вернулась с покрасневшими глазами, но без печати уныния на лице.

– Наш милый Уиллоби уже отъехал от Бартонна на несколько миль, Элинора, – сказала она, садясь за рукоделие. – И как тяжело у него должно быть на сердце!

– Все это так странно! Столь внезапный отъезд! Слово решенный тут же. Вчера вечером он был такой счастливый, такой веселый, такой милый со всеми нами! А сегодня, едва предупредив... Уехал без намерения вернуться! Нет, бесспорно, произошло что-то, о чем он нам не сказал. Он был совсем на себя не похож – и в том, как говорил, и в том, как держался. Вы, конечно, тоже это заметили! Так в чем же дело? Или они поссорились? Почему бы иначе ему уклоняться от вашего приглашения?..

– Во всяком случае, не из-за отсутствия желания его принять. Это я заметила! Просто он не мог. Я все обдумала, и, поверь, способна объяснить то, что вначале показалось мне не менее странным, чем тебе.

– Неужели?

– Я всему нашла объяснения, которые мне кажутся вполне убедительными. Но ты, Элинора, ты всегда готова сомневаться в чем угодно, и тебя они, конечно, не убедят, я это предвижу. Но меня переменить мнение ты не заставишь. Я не сомневаюсь, что миссис Смит подозревает о его чувствах к Марианне, не одобряет его знакомство с нами, и он пока не решается признаться ей в помолвке с Марианной, но вынужден из-за своего зависимого положения уступить ее замыслам и покинуть Девоншир на некоторое время. Ты, конечно, ответишь, что, может быть, это и так, но может быть, и нет. Только я не стану слушать никаких придилок, пока ты не найдешь, как истолковать все это столь же убедительно. Так что же ты скажешь, Элинора?

– Ничего. Ведь вы предвосхитили мой ответ.

– Значит, по-твоему, это может быть и так и не так? Ах, Элинора, твои чувства просто непостижимы! Ты всегда склонна верить в дурное больше, чем в хорошее. Ты предпочтешь сделать Марианну несчастной, а бедняжку Уиллоби виноватым, вместо того чтобы оправдать его! Ты во что бы то ни стало ищешь в нем злокозненности потому лишь, что он простился с нами без обычной своей сердечности? И никакого снисхождения к рассеянию и унылости после подобного удара? Неужели же правдоподобнейшее объяснение следует заранее отвергать оттого лишь, что ему можно найти опровержение? Разве человек, которого у нас всех есть столько оснований любить и ни малейшего – подозревать в неблагородстве, не должен в наших глазах стоять выше обидных сомнений? И сразу же надобно забывать, что могут существовать

безукоризненные причины, которые, однако, некоторое время должно сохранять в тайне? В конце концов, в чем, собственно, ты его подозреваешь?

- Ответить на это мне трудно. Однако столь внезапная перемена в человеке невольно наводит на неприятные подозрения. Но совершенная правда и то, что для него, как вы настаиваете, можно сделать исключение, а я стараюсь судить обо всех справедливо. Бесспорно, у Уиллоби могут найтись достаточно веские причины поступить так, но ведь для него естественнее было бы сразу их объявить? Иногда возникает необходимость сохранять что-нибудь в секрете, но в нем подобная сдержанность меня удивляет.

- Тем не менее не ставь ему в вину насилие над собственной природой, если этого потребовала необходимость. Но ты правда признала справедливость того, что я говорила в его защиту? Я очень рада, а он оправдан!

- Не совсем. Можно предположить, что их помолвку (если они помолвлены!) следует скрывать от миссис Смит, и в таком случае Уиллоби благоразумнее всего некоторое время не возвращаться в Девоншир. Но это не причина держать в неведении нас!

- Держать в неведении нас? Душечка, ты упрекаешь Уиллоби и Марианну в скрытности? Вот уж поистине странно! Ведь каждый день твои глаза укоряли их за неосторожность!

- Мне нужно доказательство не их взаимного чувства, - сказала Элинора, - но того, что они помолвлены.

- Я ничуть не сомневаюсь ни в том, ни в другом.

- Но ведь ни она, ни он ни словом вам об этом не обмолвились!

- Зачем мне слова, когда поступки говорят куда яснее их? По-моему, его поведение с Марианной и со всеми нами, во всяком случае последние полмесяца, неопровержимо доказывало, что он любит ее и видит в ней свою будущую жену, а к нам питает приязнь близкого родственника, не так ли? Разве мы не понимали друг друга вполне? Разве его взоры, его манера держаться, его почтительное и заботливое внимание не испрашивали моего согласия ежедневно и ежечасно? Элинора, дитя мое, как можно сомневаться в том, что они помолвлены? Откуда у

тебя подобные подозрения? Разве мыслимо, чтобы Уиллоби, несомненно зная о любви твоей сестры к нему, простился бы с ней, вероятно, на долгие месяцы и не признался ей во взаимности? Чтобы они расстались, не обменявшись клятвами?

– Признаюсь, – ответила Элинор, – что все обстоятельства свидетельствуют о их помолвке, кроме одного. Но это обстоятельство – их молчание, и для меня оно почти перевешивает прочие свидетельства.

– Право, я тебя не понимаю! Значит, ты самого низкого мнения об Уиллоби, если после того, как они столь открыто и постоянно искали общества друг друга, природа их короткости способна вызвать у тебя малейшие сомнения! Или с его стороны не было ничего, кроме притворства? Ты полагаешь, что он к ней равнодушен?

– Нет, так я думать не могу. Он должен ее любить, и я уверена, что он ее любит.

– Но какая же это странная любовь, если он покидает ее с такой беззаботностью, с таким безразличием к дальнейшему, какие ты ему приписываешь!

– Не забывайте, милая матушка, я ведь никогда не считала, что все уже решено. Не спорю, у меня были сомнения, но они слабеют и, вероятно, скоро вовсе рассеются. Если мы узнаем, что они переписываются, всем моим опасениям придет конец.

– Ах, какая уступка! Если ты увидишь, как их в церкви благословляет священник, то, пожалуй, согласишься, что они намерены пожениться. Гадкая упрямица! Но мне такие доказательства не нужны. По моему мнению, не произошло ничего, что могло бы оправдать подобное недоверие. Ни тени скрытности, ни утаек, ни притворства. Сомневаться в своей сестре ты не можешь, следовательно, подозреваешь ты Уиллоби. Но почему? Разве он не благородный человек с чувствительной душой? Было в его поведении хоть что-нибудь способное внушить тревогу? Можно ли видеть в нем коварного обманщика?

– Надеюсь, что нет. Думаю, что нет! – вскричала Элинор. – Уиллоби мне нравится, искренне нравится, и сомнение в его чести причиняет мне не меньше страдания, чем вам. Оно возникло невольно, и я постараюсь подавить его. Признаюсь, меня смутило, что утром он был столь мало похож на себя. Он говорил совсем не так, как прежде, и ваша доброта не отозвалась в нем благодарностью. Но все это

может объясняться его положением, как вы и сказали. Он только что простился с Марианной, видел, в какой горести она удалилась, но, опасаясь вызвать неудовольствие миссис Смит, должен был побороть искушение незамедлительно сюда вернуться; понимая, однако, в какой неблагоприятной, в какой подозрительной роли представит его в наших глазах отказ от вашего приглашения и ссылка на неопределенность дальнейших его планов, он, бесспорно, мог испытывать стеснительное смущение и растерянность. И все же откровенное, безыскусственное признание в своих затруднениях, мне кажется, сделало бы ему больше чести и более гармонировало бы с его характером. Впрочем, я не возьму на себя право порицать чужое поведение потому лишь, что оно не совсем отвечает моим понятиям или не соответствует тому, что мне представляется правильным и последовательным.

– Очень похвально! Уиллоби, бесспорно, не заслужил нашего недоверия. Пусть мы с ним знакомы недавно, но в этих краях он хорошо известен, и у кого нашлось хотя бы одно слово порицания ему? Располагай он возможностью поступать по своему усмотрению и не откладывать женитьбы, действительно, было бы странно, если бы он простился с нами, не объяснив мне прежде своих намерений. Но ведь дело обстоит иначе. Обстоятельства не благоприятствуют их помолвке, так как неизвестно, когда могла бы состояться свадьба, и, пожалуй, пока даже желательно держать ее в тайне, насколько это удастся.

Появление Маргарет прервало их разговор, и Элинор могла на досуге обдумать доводы матери, признать правдоподобность многих из них и от души пожелать, чтобы верными оказались они все.

Марианну они увидели только за обедом, когда она вошла в столовую и села на свое место в полном молчании. Глаза у нее покраснели и опухли, и казалось, что она лишь с трудом удерживает слезы. Она избегала их взглядов, была не в силах ни есть, ни разговаривать, и, когда несколько минут спустя мать с безмолвным сочувствием погладила ее по руке, она не смогла долее сдерживаться и, разрыдавшись, выбежала из комнаты.

Это бурное отчаяние длилось весь вечер. Она была совсем разбита, потому что даже не пыталась совладать с ним. Малейшее упоминание всего, что так или иначе касалось Уиллоби, повергало ее в неистовую печаль, и, как мать и сестры ни старались щадить бедняжку, о чем бы они ни начинали разговора, им не удавалось избежать предметов, которые не напоминали бы ей о нем.

Глава 16

Марианна не простила бы себе, смежи она веки хоть на миг в первую ночь после разлуки с Уиллоби. Ей было бы стыдно смотреть в глаза матери и сестрам, если бы на следующее утро она не поднялась с постели еще более истомленной, чем легла в нее, но чувства, которым минута облегчения представлялась изменой, избавили ее от опасности такого позора. Она провела бессонную ночь и проплакала почти до утра. Встала она с головной болью, была не в силах произнести ни слова, проглотить ни кусочка, каждую минуту причиняя боль матери и сестрам и противясь всем их стараниям предложить ей утешение. Чувствительность ее поистине не знала предела.

Когда завтрак кончился, она ушла гулять в одиночестве и бродила по окрестностям деревни Алленем, терзаясь воспоминаниями о прошлых радостях, и почти все утро проливали слезы печали.

Весь вечер она предавалась такой же тоске. Переиграла все любимые песни, которые игрывал Уиллоби, все дуэты, в которых чаще всего сливались их голоса, и сидела за инструментом, вглядываясь в каждую строчку нот, которые он для нее переписывал, пока ее сердце не исполнилось такой тяжестью, что более не могло принять ни капли грусти. И эту пищу ее горе получало каждый день. Она проводила за фортепьяно долгие часы и то пела, то рыдала, нередко совсем лишаясь голоса от слез. В книгах, как и в музыке, она искала мук, которые приносят сравнение счастливого прошлого с горьким настоящим. Она не читала ничего, кроме того, что они читали вместе.

Выносить долго столь неистовое горе, разумеется, было невозможно, и несколько дней спустя оно перешло в тихую меланхолию, но ежедневные одинокие прогулки продолжались, и порой тягостные мысли вновь вызвали бурные припадки отчаяния.

От Уиллоби писем не было, но Марианна, казалось, их не ждала. Мать ее недоумевала, а Элинор вновь охватила тревога. Но миссис Дэшвуд, когда наступала нужда в объяснениях, умела находить их, во всяком случае, к собственному удовольствию.

– Вспомни, Элино́р, как часто сэ́р Джо́н сам привозит нам наши письма с почты и отвозит их туда. Мы ведь уже согласились, что некоторая тайна необходима, и нельзя не признать, что сохранить ее не удалось бы, если бы их переписка проходила через руки сэ́ра Джо́на.

Справедливости этого соображения Элино́р отрицать не могла и попыталась поверить, что таких опасений достаточно для их молчания. Однако был очень простой и бесхитростный способ узнать правду и сразу развеять все сомнения, причем, на ее взгляд, настолько хороший, что она прямо посоветовала матери прибегнуть к нему.

– Почему бы вам без обиняков не спросить Марианну, – сказала она, – помолвлена она с Уиллоби или нет? В устах матери, да еще такой доброй, такой снисходительной матери, как вы, подобный вопрос не может обидеть или огорчить. В нем ведь будет говорить ваша любовь к ней. А Марианна всегда была откровенной, и особенно с вами.

– Такого вопроса я не задам за все сокровища мира! Если предположить, что вопреки очевидности они все-таки не дали слова друг другу, какие муки он причинит! И сколько в нем бездушия, как бы ни обстояло дело! Вырвав у нее признание в том, о чем пока ей не хотелось бы говорить вслух никому, я навеки и заслуженно утрачу ее доверие. Я знаю сердце Марианны, знаю, как нежно она меня любит, и, конечно, не последней услышу о помолвке, когда обстоятельства позволят объявить о ней свету. Я не стала бы добиваться откровенности ни от кого, а уж тем более от собственной дочери, потому что чувство долга помешает ей уклониться от ответа, как бы она того ни хотела.

По мнению Элино́р, подобная деликатность в подобном деле была излишней, и, напомнив матери, как еще молода Марианна, она повторила свой совет, но тщетно: здравый смысл, здравая осторожность, здравая материнская тревога были бессильны перед романтической щепетильностью миссис Дэшвуд.

Прошло несколько дней, прежде чем близкие Марианны решились упомянуть имя Уиллоби в ее присутствии. Сэ́р Джо́н и миссис Дженнингс не были столь тактичны, и их шуточки делали еще чернее многие черные часы. Но как-то вечером миссис Дэшвуд, случайно взяв в руки том Шекспира, не удержалась от восклицания:

– Мы так и не кончили «Гамлета», Марианна! Наш милый Уиллоби уехал прежде, чем мы дошли до последнего акта. Но отложим книгу до его возвращения... Хотя ждать, возможно, придется многие месяцы...

– Месяцы? – вскричала Марианна в сильнейшем удивлении. – Нет. Несколько недель.

Миссис Дэшвуд ее оплошность огорчила, но Элинор обрадовалась, так как слова Марианны неопровержимо доказывали, что она уверена в Уиллоби и осведомлена о его намерениях.

Примерно через неделю после разлуки с ним сестрам удалось убедить Марианну отправиться на обычную прогулку вместе с ними, вместо того чтобы блуждать в одиночестве. До этих пор она всячески избегала сопровождать их: если они намеревались отправиться в холмы, она ускользала в лабиринт проселочных дорог, если же они решали пройтись по долине, она уже исчезала на каком-нибудь склоне, прежде чем они успевали выйти из дома. Но в конце концов Элинор, которой очень не нравилось это стремление все время быть одной, настояла на том, чтобы Марианна осталась с ними. По дороге, уводившей из долины, они шли почти не разговаривая, так как Марианна едва владела собой, и Элинор, добившись одной победы, остерегалась предпринимать что-нибудь еще. Они достигли устья долины, где холмы уступали место столь же плодородной, хотя и менее живописной равнине, и перед ними открылось длинное протяжение почтового тракта, по которому они приехали в Бартон. Прежде они еще ни разу не уходили в этом направлении так далеко и теперь остановились, чтобы обозреть вид, совсем иной, чем открывавшийся из окон их коттеджа.

Вскоре на фоне ландшафта они заметили движущуюся фигуру: к ним приближался какой-то всадник. Несколько минут спустя они различили, что это не фермер, но джентльмен, и еще через мгновение Марианна воскликнула с восторгом:

– Это он! Да-да, я знаю! – и поспешила навстречу.

Но Элинор тут же ее окликнула:

– Марианна, ты ошибаешься! Это не Уиллоби. Этот джентльмен не так высок, и у него другая посадка!

– Нет-нет! – с жаром возразила Марианна. – Конечно, это он. Его осанка, его плащ, его лошадь! Я знала, знала, что он вернется скоро!

Она убыстрила шаги, но Элино́р, не сомневавшаяся, что перед ними не Уиллоби, поторопилась нагнать сестру, чтобы избавить ее от неизбежной неловкости. Теперь их от всадника отделяло лишь шагов пятьдесят. Марианна взглянула еще раз, и отчаяние сжало ее сердце. Она повернулась и почти побежала назад, но тут же до нее донеслись голоса обеих ее сестер, к которым присоединился третий, почти столь же знакомый, как голос Уиллоби: они все просили ее остановиться. Она подчинилась, с удивлением обернулась и увидела перед собой Эдварда Феррарса.

Только ему во всем мире могла она простить, что он оказался не Уиллоби, только ему могла она приветственно улыбнуться. И она улыбнулась, почти сквозь слезы, на миг при виде счастья сестры забыв о собственном горьком разочаровании.

Эдвард спешил, отдал поводья слуге и пошел с ними в Бартон, куда и направлялся, предполагая погостить у них.

Все трое поздоровались с ним очень сердечно, но особенно Марианна, которой, казалось, его появление было приятней, чем самой Элино́р. Собственно говоря, во встрече Эдварда с ее сестрой Марианна вновь почувствовала ту же необъяснимую холодность, которую в Норленде так часто подмечала в поведении их обоих. Особенно ее поразил Эдвард, который и выглядел и выражался совсем не так, как положено влюбленным в подобных случаях. Он казался смущенным, словно бы вовсе им не обрадовался, на лице его не отразилось ни восторга, ни даже просто удовольствия, сам он почти ничего не говорил и лишь отвечал на вопросы и не подарил Элино́р ни единого знака особого внимания. Марианна смотрела, слушала, и ее изумление все возрастало. Эдвард начал даже внушать ей что-то похожее на неприязнь, а потому, как, впрочем, было бы неизбежно в любом случае, ее мысли вновь обратились к Уиллоби, чьи манеры являли столь разительный контраст с манерами ее предполагаемого зятя.

После краткого молчания, сменившего первые возгласы и приветствия, Марианна осведомилась у Эдварда, приехал ли он прямо из Лондона. Нет, он уже полмесяца как в Девоншире.

- Полмесяца! - повторила она, пораженная тем, что он уже столько времени находился неподалеку от Элинор и не выбрал времени повидаться с ней раньше.

Он с некоторым смущением добавил, что гостил у знакомых в окрестностях Плимута.

- А давно ли вы были в Сассексе? - спросила Элинор.

- Около месяца тому назад я заезжал в Норленд.

- И как выглядит милый, милый Норленд? - вскричала Марианна.

- Милый, милый Норленд, - сказала Элинор, - вероятно, выглядит так, как всегда выглядел в эту пору года. Леса и дорожки густо усыпаны опавшими листьями.

- Ах! - воскликнула Марианна. - С каким восторгом, бывало, я наблюдала, как они облетают! Как я наслаждалась, когда ветер закручивал их вихрями вокруг меня во время прогулок! Какие чувства пробуждали и они, и осень, и самый воздух! А теперь там некому любоваться ими. В них видят только ненужный сор, торопятся вымести их, спрятать подальше от всех взоров!

- Но ведь не все, - заметила Элинор, - разделяют твою страсть к сухим листьям.

- Да, мои чувства редко разделяются, их редко понимают. Но иногда... - Тут она погрузилась в задумчивость, но вскоре очнулась и продолжала: - Взгляните, Эдвард, - она указывала на вид перед ними, - вот Бартонская долина. Взгляните и останьтесь невозмутимы, если сумеете! Взгляните на холмы. Доводилось вам видеть что-нибудь равное им? Слева среди этих роц и посадок лежит Бартон-парк. Отсюда виден один его флигель. А там под сенью вот того самого дальнего и самого величественного из холмов прячется наш коттедж.

- Места здесь очень красивые, - ответил он, - но зимой дороги, вероятно, утопают в грязи.

- Как можете вы вспоминать о грязи, видя перед собой такое великолепиие!
- Потому лишь, - ответил он с улыбкой, - что вижу перед собой и весьма грязный проселок.
- Не понимаю! - сказала Марианна как бы про себя.
- А как вы находите своих новых знакомых? Мидлтоны - приятные люди?
- Ах нет! - ответила Марианна. - Мы не могли бы оказаться в худшем положении!
- Марианна! - с упреком воскликнула ее сестра. - Как ты можешь? Это очень достойные люди, мистер Феррарс, и окружают нас самым дружеским вниманием. Неужели ты забыла, Марианна, сколько приятных дней мы провели благодаря им?
- Нет, не забыла, - негромко ответила Марианна, - как и все мучительные минуты.

Элинор пропустила ее слова мимо ушей и постаралась занять гостя разговором об их новом жилище, о его расположении и прочем, иногда добиваясь от него вежливых вопросов и замечаний. Его холодность и сдержанность больно ее задевали, пробуждали в ней досаду и даже раздражение. Но, решив исходить только из прошлого, а не из настоящего, она ничем не выдала того, что чувствовала, и держалась с ним так, как, по ее мнению, требовало свойство между ними.

Глава 17

Миссис Дэшвуд удивилась лишь на мгновение: она считала, что ничего естественнее его приезда в Бартон быть не могло, и не скупилась на самые радостные восклицания и приветствия. Никакая застенчивость, холодность и сдержанность не устояла бы против столь ласкового приема (а они изменили ему еще прежде, чем он переступил порог коттеджа), радушие же миссис Дэшвуд и вовсе заставило их бесследно исчезнуть. Да и не мог человек,

влюбленный в одну из ее дочерей, не перенести часть своего чувства на нее самое, и Элинор с облегчением заметила, что он опять стал похож на себя. Словно привязанность к ним всем вновь воскресла в его сердце, и интерес к их благополучию казался неподдельным. Однако какая-то унылость не оставляла его: он расхваливал коттедж, восхищался видами из окон, был внимателен и любезен, но унылость не проходила. Они это заметили, и миссис Дэшвуд, приписав ее новым стеснительным требованиям его матери, села за стол, полная негодования против всех себялюбивых и черствых родителей.

– Каковы, Эдвард, теперь планы миссис Феррарс на ваш счет? – осведомилась она, когда после обеда они расположились у топящегося камина. – От вас по-прежнему ждут, что вы вопреки своим желанием станете великим оратором?

– Нет. Надеюсь, матушка убедилась, что таланта к деятельности на общественном поприще у меня не больше, чем склонностей к ней.

– Но как же вы добьетесь славы? Ведь на меньшем ваши близкие не помирятся, а без усердия, без готовности не останавливаться ни перед какими расходами, без стремления очаровывать незнакомых людей, без профессии и без уверенности в себе обрести ее вам будет нелегко!

– Я не стану и пытаться. У меня нет никакого желания обретать известность и есть все основания надеяться, что мне она не угрожает. Благодарение небу, насильственно одарить меня талантами и красноречием не по силам никому!

– Да, я знаю, что вы лишены честолюбия. И очень умеренны в своих помыслах.

– Не более и не менее, чем все люди, я полагаю. Как всякий человек, я хочу быть счастливым, но, как всякий человек, быть им могу только на свой лад. Величие меня счастливым не сделает.

– О, еще бы! – воскликнула Марианна. – Неужели счастье может зависеть от богатства и величия!

– От величия, может быть, и нет, – заметила Элинор, – но богатство очень способно ему содействовать.

– Постыдись, Элино́р! – сказала Марианна с упреком. – Деньги способны дать счастье, только если человек ничего другого не ищет. Во всех же иных случаях тем, кто располагает скромным достатком, никакой радости они принести не могут!

– Пожалуй, – с улыбкой ответила Элино́р, – мы с тобой пришли к полному согласию. Разница между твоим «скромным достатком» и моим «богатством» вряд ли так уж велика; без них же при нынешнем положении вещей, как, я думаю, мы обе отрицать не станем, постоянная нужда в том или ином будет неизбежно омрачать жизнь. Просто твои представления выше моих. Ну, признайся, что, по-твоему, составляет скромный достаток?

– Тысяча восемьсот, две тысячи фунтов в год, не более!

Элино́р засмеялась:

– Две тысячи фунтов в год! Я же одну тысячу называю богатством. Так я и предполагала.

– И все-таки две тысячи в год – доход очень скромный, – сказала Марианна. – Обойтись меньшим никакая семья не может. Я убеждена, что мои требования очень умеренны. Содержать приличное число прислуги, экипаж или два и охотничьих лошадей на меньшую сумму просто невозможно.

Элино́р вновь улыбнулась тому, с какой точностью ее сестра подсчитала их будущие расходы по содержанию Комбе-Магна.

– Охотничьи лошади! – повторил Эдвард. – Но зачем они? Далеко ведь не все охотятся.

Порозовев, Марианна ответила:

– Но очень многие!

– Вот было бы хорошо, – воскликнула Маргарет, пораженная новой мыслью, – если б кто-нибудь подарил каждой из нас по огромному богатству!

– Ах, если бы! – вскричала Марианна, и ее глаза радостно заблестели, а щеки покрылись нежным румянцем от предвкушения воображаемого счастья.

– В таком желании мы все, разумеется, единодушны, – заметила Элинора. – Несмотря на то, что богатство значит так мало!

– Как я была бы счастлива! – восклицала Маргарет. – Но как бы я его тратила, хотелось бы мне знать?

Судя по лицу Марианны, она такого недоумения не испытывала.

– И я не знала бы, как распорядиться большим богатством, – сказала миссис Дэшвуд. – Ну, конечно, если бы все мои девочки были тоже богаты и в моей помощи не нуждались!

– Вы занялись бы перестройкой дома, – заметила Элинора, – и ваше недоумение скоро рассеялось бы.

– Какие бы великолепные заказы посылались отсюда в Лондон, – сказал Эдвард, – если бы случилось что-нибудь подобное! Какой счастливый день для продавцов нот, книгопродавцев и типографий! Вы, мисс Дэшвуд, распорядились бы, чтобы вам присылали все новые гравюры, ну, а что до Марианны, я знаю величие ее души – во всем Лондоне не наберется нот, чтобы она пресытилась. А книги! Томсон, Каупер, Скотт – она покупала бы их без устали, скупала бы все экземпляры, лишь бы они не попали в недостойные руки! И не пропустила бы ни единого тома, который мог бы научить ее, как восхищаться старым корявым дубом. Не правда ли, Марианна? Простите, что я позволил себе немного подразнить вас, но мне хотелось показать вам, что я не забыл наши былые споры.

– Я люблю напоминания о прошлом, Эдвард, люблю и грустные, не только веселые, и вы, заговаривая о прошлом, можете не опасаться меня обидеть. И вы совершенно верно изобразили, на что расходовались бы мои деньги – во всяком случае, некоторая их часть. Свободные суммы я, разумеется, тратила бы на ноты и книги.

– А капитал вы распределили бы на пожизненные ренты для авторов и их наследников.

– Нет, Эдвард. Я нашла бы ему другое применение.

– Быть может, вы обещали бы его в награду тому, кто напишет наиболее блистательную апологию вашего любимого утверждения, что любить человеку дано лишь единожды в жизни... Полагаю, вы своего мнения не переменили?

– Разумеется. В моем возрасте мнений так легко не меняют. Навряд ли мне доведется увидеть или услышать что-то, что убедило бы меня в обратном.

– Марианна, как вы замечаете, хранит прежнюю твердость, – сказала Элиноор. – Она ничуть и ни в чем не изменилась.

– Только стала чуточку серьезней, чем была прежде.

– Нет, Эдвард, – сказала Марианна, – не вам упрекать меня в этом. Вы ведь сами не очень веселы.

– Почему вы так полагаете? – спросил он со вздохом. – Веселость ведь никогда не была мне особенно свойственна.

– Как и Марианне, – возразила Элиноор. – Я не назвала бы ее смешливой. Она очень серьезна, очень сосредоточенна, какое бы занятие себе ни выбирала. Иногда она говорит много и всегда с увлечением, но редко бывает весела, как птичка.

– Пожалуй, вы правы, – ответил он. – И все же я всегда считал ее веселой, живой натурой.

– Мне часто приходилось ловить себя на таких же ошибках, – продолжала Элиноор, – когда я совершенно неверно толковала ту или иную черту характера, воображала, что люди гораздо более веселы или серьезны, остроумны или глупы, чем они оказывались на самом деле, и не могу даже объяснить, почему или каким образом возникало подобное заблуждение. Порой полагаешься на то, что они говорят о себе сами, гораздо чаще – на то, что говорят о них другие люди, и не даешь себе времени подумать и судить самой.

– Но мне казалось, Элинора, – сказала Марианна, – что как раз и следует совершенно полагаться на мнения других людей. Мне казалось, что способность судить дана нам лишь для того, чтобы подчинять ее приговорам наших ближних. Право же, именно это ты всегда проповедовала!

– Нет, Марианна, никогда. Никогда я не проповедовала подчинение собственных мыслей чужим. Я пыталась влиять только на поведение. Не приписывай мне того, что я не могла говорить. Признаю себя виновной в том, что часто желала, чтобы ты оказывала больше внимания всем нашим знакомым. Но когда же я советовала тебе безоговорочно разделять их чувства и принимать их суждения в серьезных делах?

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: <https://tellnovel.com/ru/dzheyn-ostin/45615-chuvstvo-i-chuvstvitel-nost>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)